Время Волка

Автор:
Юлия Волкодав

Время Волка

Юлия Александровна Волкодав

Это личное!

В жизни певца Леонида Волка всё давно устоялось, год расписан на концерты и гастроли, корпоративы и «огоньки». Но одно событие вдруг выбивает его из привычной колеи и заставляет вспомнить и переосмыслить всю долгую жизнь – от детства в послевоенном Сочи до выступлений в кабульских госпиталях. Он всегда играл навязанную роль советского певца, но сможет ли в итоге выбрать себя?

Цикл Ю. Волкодав «Триумвират советской песни. Легенды» – о звездах советской эстрады. Три артиста, три легенды. Жизнь каждого вместила историю страны в 20 веке. Они озвучили эпоху, в которой жили. Но кто-то пел о Ленине и партии, а кто-то о любви. Одному рукоплескали стадионы и присылали приглашения лучшие оперные театры мира. Второй воспел все главные события нашей страны. Третьего считали чуть ли не крёстным отцом эстрады. Но все они были просто людьми. Со своими бедами и проблемами. Со своими историями, о которых можно писать книги.

Юлия Волкодав

Время Волка

© Юлия Волкодав, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Все герои вымышлены, все совпадения случайны

– Докладывайте, лейтенант Ольховский.

Старший следователь Михайлюк привалился к стене, скрестив руки на груди и глядя на молодого коллегу без особой надежды на внятный доклад. Но Ольховский, даром что от волнения покраснел, зачастил на редкость бойко.

– Вызов поступил на пульт дежурного в двадцать два ноль семь. В двадцать два двадцать мы уже были на месте происшествия. По прибытии обнаружили труп женщины. Русская, волосы рыжие, рост…

– Дальше! – перебил его следователь. – Я и так вижу, что она рыжая.

Разговор происходил на кухне, посреди которой лежал уже обведённый мелом труп рыжеволосой женщины в луже крови.

– Мы установили личность убитой. Елизавета Петрашевская, двадцать пять лет, не москвичка. Приехала в Москву предположительно три месяца назад из Сызрани. Квартиру снимала.

– Ближе к делу, – снова перебил Михайлюк.

– Проникающее ножевое ранение в область живота. На месте преступления был задержан мужчина шестидесяти четырёх лет, русский, худощавого телосложения, глаза серые, волосы пепельные, одет…

Старший следователь досадливо поморщился от ненужных подробностей, и лейтенант Ольховский спешно подсократил рассказ:

– Подозреваемый предположительно находился с убитой в сексуальной связи.

– Чего? – рявкнул на него следователь. – Ты совсем охренел, Ольховский? Ему шестьдесят четыре, ей двадцать пять. Какая сексуальная связь?! Сосед по пьяни зарезал! Или отец – на бутылку деньги вымогал. Личность подозреваемого установлена?

– Установлена, – пролепетал лейтенант. – Я ж потому и говорю… Подозреваемый – Волк Леонид Витальевич.

– Кто?! Это который поёт, что ли?

– Ну да. Народный артист Леонид Волк. Когда мы приехали, он сидел вот тут, на табуретке, с ножом в руках. Взяли, так сказать, с поличным.

Михайлюк потряс головой. Бред какой-то. Леонида Волка он отлично знал. Да кто его не знает? Как какой праздник, так он из каждого телевизора поёт. Михайлюку самому скоро полтинник, но ему казалось, что и его детство прошло под песни Волка. Один раз Михайлюк его даже живьём видел, ему тогда на службе выдали приглашение на торжественный концерт ко Дню милиции в Кремле, и они с женой ходили. Волк три песни спел, кажется, одна душевная такая, про милицейские будни. В общем, образ всегда улыбающегося, обаятельного певца в белой рубашке, смокинге и бабочке совершенно не вязался с типовой девятиэтажкой в Бутово, где они сейчас находились. С этой тесной кухней, на полу которой был распростёрт труп вполне заурядной девицы. С алкоголиками в пропахшем кошками подъезде и лифтом с сожжёнными кнопками. Словом, Михайлюка раздирали такие противоречия, что он рявкнул на сержанта громче, чем хотелось бы:

– И где твой подозреваемый?

– В комнате. Его Иваненко допрашивает.

Второй оперативник – ещё моложе и, по мнению Михайлюка, ещё бестолковее – действительно пытался допрашивать подозреваемого. И подозреваемым действительно был Волк. Не узнать его было невозможно. Даже тут, в декорациях, весьма далёких от сценических, он стоял в шёлковой, с иголочки, рубашке и брюках с безупречными стрелками. Вот только и рубашка, и брюки были перепачканы кровью, а на лице народного артиста не осталось и следа

обычного благодушия.

Он затравленно озирался по сторонам и безуспешно пытался закурить, но никак не мог совладать с зажигалкой.

– Так вы говорите, что приехали сюда после концерта? – допытывался Иваненко.

– Да. – Певец снова щёлкнул зажигалкой. – У меня был сольный концерт в Доме музыки. Светлановский зал, ни одного свободного места.

У него заметно тряслись руки, видимо, от волнения. Михайлюк подошёл и молча протянул коробок спичек.

– Спасибо. – Волк посмотрел на него с благодарностью, поджёг сигарету, затянулся.

– Продолжайте, продолжайте, – кивнул Михайлюк оперативнику.

Но Иваненко присутствие старшего по званию сбило с нужной волны, и он задал абсолютно глупый вопрос:

– А это кто-нибудь может подтвердить?

Волк подавился дымом, закашлялся.

– Чёрт, я вообще-то не курю. Молодой человек, в Светлановском зале тысяча семьсот мест. Подсчитайте, сколько людей меня там видели. И слышали.

– Ну хорошо, а что было потом?

– Потом я поехал сюда.

– Зачем?

Волк медленно затянулся, медленно выдохнул дым в открытую форточку. Его потряхивало, было заметно, что ему стоит больших усилий держать себя в руках

и отвечать спокойно.

– Видите ли, – наконец проговорил он, – нас с Лизой связывали деловые отношения.

На слове «Лиза» он совсем побледнел, перевёл взгляд на свою рубашку и теперь сосредоточенно рассматривал её, будто только сейчас увидел, что в крови с головы до ног. И осознал, в чьей именно крови.

– Дальше, – потребовал оперативник. – Вы приехали, и что было дальше?

– Дверь оказалась открытой. Я вошёл, позвал её, она не отзывалась. Прошёл на кухню, и тут она… На полу…

– Вас застали с ножом в руке.

– Я думал, она ещё жива! Я хотел ей помочь и вытащил нож. Вы… Вы мне не верите? – вдруг осёкся певец. – Вы считаете, что это я…

Он вдруг поморщился и потёр левую половину груди. Михайлюк решил вмешаться. Всё-таки заслуженный человек, да и в возрасте, не стоит с ним так.

– Леонид Витальевич, мы ничего не считаем, – мягко проговорил он, беря Волка под локоть. – Но вам нужно будет проехать с нами в отделение. До выяснения, так сказать.

– Что тут выяснять! Ох, ты ж… Здесь где-то моя борсетка была. Ваши ребята её забрали. Там таблетки, от сердца, могу я…

– Конечно, конечно, Леонид Витальевич. Сейчас вернём вам ваши таблетки. Пройдёмте в машину.

* * *

– Вы с ума сошли? Я не буду ничего подписывать!

Только теперь, после почти часа долгих разговоров и кружения вокруг да около, Волк понял, чего от него добивается следователь. И пришел в ужас, так что едва успокоившееся сердце опять словно холодной рукой стиснуло.

– Я не убивал Лизу!

– Леонид Витальевич, давайте не горячиться. – Михайлюк старался говорить спокойно, медленно, чтобы смысл его слов доходил до взволнованного артиста, сидящего напротив в комнате для допросов. – Обстоятельства против вас. Ваши отпечатки найдены не только на ноже, что и так понятно, вы держали его в руках, когда приехала опергруппа. Ваши отпечатки по всей квартире. На выключателях, на столе, даже на чашке. Вы что, увидев убитую подругу, решили выпить чаю?

– Я не-не…

Леонид Витальевич осёкся. По спине побежал холодок, рука машинально потянулась расстёгивать воротник. Неужели опять? Нет, не может быть. Это просто невозможно через столько-то лет. Он замолчал, не закончив фразы, тем более что Михайлюк его и не слушал.

– Соседка подтвердила, что вы и ранее бывали в доме погибшей, а незадолго до убийства из квартиры доносились крики. Она и вызывала полицию на всякий случай. Бдительная бабушка. Ваш водитель утверждает, что после концерта сразу повёз вас в Бутово, высадил и уехал домой, вы его отпустили. По времени всё совпадает. Единственное, что остаётся непонятным, – мотив. Я предполагаю, что конфликт у вас произошёл на сексуальной почве?

Волк молчал, нервно водя руками по поверхности стола. Какая Лиза, какое Бутово!.. Он уже не мог думать ни о чём другом. Только не это. Если оно вернулось, это конец всему… Нет, так не может быть! Боря, нужно срочно позвонить Боре. Появится Карлинский – и всё сразу будет хорошо.

– Леонид Витальевич, ну всякое бывает, я понимаю. Знаете, сколько я подобного на своём веку повидал? Поругались, покричали, побили посуду, дошли до нужного градуса. Мужик бабу толкнул, она головой об угол ударилась, и всё, получите труп. Ножом – это реже, конечно, ножами обычно наоборот, бабы мужиков протыкают. Бытовуха – она со всеми случается, и с простыми, и с

известными. Но известным-то полегче. Вы сейчас чистосердечное напишете, объясните, как что было. Подтвердим вам состояние аффекта, у нас судебный психиатр – мировой мужик. И наверняка ваш поклонник. Да что я говорю, вас же все знают! Да все будут на вашей стороне! Может, эта курва вам изменяла, а? Может, вы её с молодым застали? Тогда аффект вообще ничего не стоит подтвердить!

Волк резко вскинулся, посмотрел на следователя в упор:

– М-мне не из-из-из…

И снова замолчал. Теперь в его глазах плескался настоящий ужас. Да, оно вернулось. Господи, нет, пожалуйста, нет!

– Вы поймите, вас же на деле никто не посадит. Аффект, убийство по неосторожности. Плюс возраст и все ваши заслуги вкупе с чистосердечным. Да любой присяжный вас оправдает. Ну будет условный срок. И тихо всё сделаем, чтобы скандала избежать, мы же понимаем, вы человек публичный.

Михайлюк всячески хотел замять это дело, насколько вообще можно замять сто пятую статью. Ему было искренне жаль заслуженного старика. Ведь ясно же, что непреднамеренное, вон как его трясёт. Мало ли что там произошло. Может, у него не получилось, а девка импотентом обозвала. Ну у него в мозгах что-то и замкнуло. И что ж теперь ему жизнь ломать? Но все обстоятельства были против Волка, и сам он как в рот воды набрал. Хоть бы изложил свою версию произошедшего, так нет, сидит, дёргается, только глазами сверкает и седой башкой мотает.

– Ну что, Леонид Витальевич? Будем признательную писать?

Волк вдруг начал сползать по стулу.

– Мне не-не-не хо…

То, что ему нехорошо, Михайлюк и сам догадался. И сориентировался быстро.

– Петро! – крикнул он кому-то в коридор. – Давай сюда! Бегом! Вызови доктора!

Леонид Витальевич отрицательно замотал головой, но на него никто не обратил внимания.

– Сейчас позовем. – Огромный, сильно смахивающий на орангутана в форме Петро сохранял полную невозмутимость. – Романыч почти даже трезвый, я его час назад видел.

– Иди ты к чёрту со своим Романычем! Нормального доктора вызови, гражданского. Лучше, – Михайлюк с сомнением посмотрел на трущего грудь певца, – кардиолога. А артиста в наш «вип-номер». Одиночный. И деликатней, Петро, деликатней. Это ж не обычный наш контингент.

– Да знаю я, – вздохнул Петро и осторожно, хотя и без малейшего усилия, приподнял Волка. – Вставайте, пошли.

Леонид Витальевич поднялся. Ему уже было всё равно куда и зачем. Ноги подкашивались, голова кружилась, но хуже всего – не слушался язык. Он вышел в коридор, сопровождаемый конвойным, который, впрочем, его не держал, а поддерживал насколько мог аккуратно, под руку. Но, едва сделав шаг, он нос к носу столкнулся с человеком, которого меньше всего ожидал тут увидеть.

Не медля ни секунды, Натали с ходу залепила ему пощёчину.

– Сволочь! Козёл! Доигрался? Сколько можно, Лёня? Сколько, я тебя спрашиваю, можно?

Пощёчина у неё получилась славная, аж голова мотнулась в сторону. Петро профессионально дёрнулся, но Волк его остановил жестом, показывая, что всё в порядке.

– Вы кто, женщина? И как сюда попали? – возмутился конвойный.

– Жена я его, вот кто! И меня сюда вызвали среди ночи! – завизжала женщина. – Я в чём была лечу к вам, а вы спрашиваете, кто я такая?!

Петро озадаченно разглядывал нарядную дамочку в вечернем тёмно-зелёном платье, туфлях на высоком каблуке, с сумочкой в тон и при полном макияже,

пытаясь понять, откуда она тут материализовалась. Волк же стоял с обречённым видом и молчал.

– Меня по телефону уже спрашивают, не знаю ли я Елизавету Петрашевскую! – продолжала орать дамочка. – Нет, я её не знаю! Кто это, Лёня? Очередная из твоих потаскух? И что ты натворил? Почему ты здесь? Она что, несовершеннолетняя? Знаешь, это последняя капля! Я с тобой разведусь! Что ты молчишь?! Сказать нечего?

– Не-не-не…

– Ой, не начинай, пожалуйста! Не надо разыгрывать спектакль, что тебе плохо и все должны вокруг тебя бегать. Меня ты этими фокусами не проведёшь! Похотливая скотина!

Волк развернулся и сам пошёл по коридору, благо тут было только одно направление. Петро, опомнившись, за секунду его догнал. Натали ещё что-то кричала им вслед.

– Супруга, – понимающе то ли спросил, то ли констатировал конвойный. – Бабы кого угодно в гроб загонят. У меня такая же.

* * *

Наконец-то его оставили в покое. Приглашённый врач пытался выяснить, чем Волк болеет, на что жалуется, но, так и не получив внятного ответа, разобрался сам – уже побелевший, трёхлетней давности, но всё ещё хорошо заметный шрам, идущий через всю грудь, мог рассказать гораздо больше, чем его заикающийся обладатель. Доктор посетовал, что нет кардиографа, измерил давление и дал какие-то таблетки. Волк их взял, но пить не стал, на дальнейшие вопросы о самочувствии утвердительно покивал, и от него отстали. И вот теперь он лежал в одноместной камере с болотно-зелёными крашеными стенами на узкой и скрипучей кровати с таким же болотно-зелёным казённым и дурно пахнущим одеялом. Единственное в комнате окно было зарешёчено, красноречиво свидетельствуя, что здесь ты не просто больной, ты – зэк. И не расслабляйся. Все эти вежливые «Леонид Витальевич» и «вы» – не более чем игра в доброго следователя, чуть ли не поклонника артиста. А вот запоры на металлической

двери звякнули весьма натурально. И жрать тебе, Леонид Витальевич, принесут сегодня в жестяной миске, если вообще принесут.

Но не это, совершенно не это занимало сейчас его мысли. Все ужасы сегодняшнего дня, начиная с окровавленной Лизы и заканчивая бьющим в глаза светом в комнате допросов отступали перед диким, звериным страхом – оно вернулось. Спустя четыре десятка лет! Сейчас, когда он ожидал от жизни каких угодно неприятных сюрпризов: потери голоса или угасания зрительского интереса, проблем со здоровьем и естественного ухода близких людей, импотенции, в конце концов. Ожидал и внутренне себя готовил. Какие-то ожидания оправдывались, какие-то, к счастью, нет. Он пока что был востребован как артист, а голос, хоть и не звучал как в молодости, но всё же оставался вполне приличным, даже приобрёл новые бархатистые оттенки. Да и с женщинами, слава богу!.. Но это! Вот чего он совершенно не предполагал. И что могло в один миг перечеркнуть всё, чего он так упорно добивался на протяжении всей жизни!

Телефон у него не забрали. Тоже, видимо, из уважения. Но звонить по нему он всё равно не мог, а эсэмэсками пользоваться не умел. Ещё прочитать получалось, а набрать уже нет. Впрочем, ведь Борьке можно и так позвонить, он всё поймёт.

Щурясь без очков, он кое-как отыскал нужную запись, нажал вызов. Карлинский ответил не сразу, но Волк долго ждал и наконец услышал знакомый, нарочито ленивый голос.

– Весь внимание, Леонид Витальевич.

Клоун. Но Волку сейчас было не до смеха.

– Бо-бо-боря! Бе-бе-бе-еда!

В общем-то, этого достаточно. Даже первого слова было бы достаточно, чтобы Боря всё понял. Уж кому понять, как не ему.

– Ты где? – отрывисто уточнил разом посерьёзневший Карлинский на том конце.

– В СИ-СИ-СИЗО. Бу-бу-бутовском.

– Что случилось? Лёня? Пой, твою мать.

Со стороны их разговор мог показаться диалогом двух сумасшедших. Но душевным расстройством никто из них не страдал.

– Не-е мо-огу, Бо-оря. Мне пло-охо.

Он всё-таки пропел эту фразу. Тоже не шибко здорово получилось, и куда былой опыт делся!..

– Я приеду, Лёнь. Сейчас же. Держись, старик, и не нервничай!

Леонид Витальевич положил телефон. Хорошо, когда не надо ничего объяснять. Хорошо, когда есть настоящий друг. В его мобильнике, наверное, с тысячу номеров. Коллеги, приятели, спонсоры, чиновники всех мастей. Есть даже парочка бандитов. А позвонить можно только Карлинскому. Хотя, наверное, у какого-нибудь замминистра МВД, который песни Волка «с детства знает», куда больше вариантов его отсюда вытащить. Но замминистра МВД не поймёт ни слова из его нынешнего невнятного бормотания да и не захочет понимать. Просто повесит трубку, решив, что Волк нажрался или кто-то его разыгрывает. Он знает совсем другого Волка – успешного, обаятельного, заливающегося соловьём на концерте и травящего анекдоты на последующей пьянке. И только Борис знаком с Лёнькой, мальчишкой с Ворошиловской улицы, до уровня которого Леонид Витальевич сейчас стремительно деградировал.

Борька жил на другом конце Москвы и даже не в городе. Если повезёт и не будет пробок, доберётся часа через два. А потом… Что будет потом, он даже представлять не хотел. Дождаться бы Борьки. А пока хорошо бы подремать, если удастся, конечно.

Не удалось. Стоило прикрыть веки, перед глазами тут же встала картинка из далёкого детства.

* * *

Первое детское воспоминание Лёни – мёртвый дельфин. Он лежал на берегу и смотрел остекленевшим взглядом куда-то в пустоту. А вокруг него столпились женщины, которые громко спорили.

– А я говорю, нужно его сдать! – кричала одна. – Это же государственная собственность.

– В госпиталь отнести надо, пусть солдатики наедятся! – причитала вторая.

– С ума посходили? Петровна, ты чего голосишь? У тебя что, дома дети не голодные? А ну, быстро рты позакрывали. Сейчас разделим на всех, никто ничего и не узнает.

Это бабушка. Лёня ещё не понимает, почему она ругается и что значит «разделим». Ему просто жалко мёртвого дельфина. Бабушка сказала, что он сам выбросился на берег и поэтому погиб. Лёня сидит на корточках возле дельфиньей головы и ждёт, когда они с бабушкой пойдут собирать мидии. Они пришли на море за мидиями, которые растут на бунах. Бабушка заходит в воду по пояс и срезает мидии большим ножом. А Лёня играет на берегу, строит из камушков домики и мечтает, как вечером бабушка сварит из мидий вкусный суп. Но сегодня бабушка словно забыла про мидий, теперь её интересует дельфин.

Бабушка достаёт свой нож и проводит им по дельфиньему боку. На камни течёт кровь, Лёня в ужасе отворачивается. Кто-то из женщин ахает, но Серафиму Ивановну это совершенно не смущает. Лёнина бабушка – хирург, военный хирург. Она работает в госпитале. Ей не жалко дельфина. Женщины моют куски дельфиньего мяса в море и прячут по сумкам. Женщин много, и от дельфина совсем ничего не остается. Лёня не смотрит, но его всё равно тошнит от странного запаха.

– Пошли. – Бабушка берёт его за руку. – Пошли домой.

– А мидии?

– Не будет сегодня мидий. Мы сегодня мясо приготовим.

Лёня радуется, ему очень хочется есть. Но до дома ещё далеко. Они живут высоко на горе, за госпиталем, в котором работает бабушка. Нужно долго-долго подниматься по узенькой тропинке, прежде чем окажешься в их дворе и увидишь их деревянный домик. На половине пути Лёня начинает хныкать – он натёр ногу и не может дальше идти.

– Наказание, а не ребёнок, – ворчит бабушка, но поднимает его и сажает себе на плечи.

Теперь она несёт не только авоську с дельфиньим мясом, но и Лёню. Бабушка часто называет его «наказанием» и «горем луковым», а ещё иногда «подкидышем».

Лёня действительно подкидыш, в том смысле, что отец подкинул его бабушке почти сразу после рождения. А что ещё ему было делать? Война уже шла, и Виталия Волка призвали на фронт. Да хоть бы и в мирное время, он понятия не имел, как обращаться с новорожденным. Когда он появился в Сочи, на пороге её дома, со свёртком на руках, Серафима Ивановна сразу всё поняла. Ещё год назад в этом самом доме они гуляли свадьбу, отдавали её дочь, умницу, красавицу Катеньку замуж за москвича, видного мужчину, военного – Виталия Волка. Все соседи завидовали, а Серафима Ивановна только поджимала губы, но ничего не говорила. Решила не вмешиваться в жизнь дочери. Если ей нравится, пусть. Уже из Москвы Катя писала, что ждёт ребёнка, и Серафима Ивановна собиралась взять в больнице отпуск и поехать к дочери, помогать с малышом. Всё сложилось совсем иначе. Началась война, сочинские санатории превратились в госпитали, и каждая пара рук была на счету. Серафима Ивановна по двенадцать часов стояла у стола, и никто её в Москву, конечно, не отпустил бы. Она ждала письма о том, что стала бабушкой, а дождалась Волка, с окаменевшим от горя лицом и пищащим свёртком.

Не думала Серафима Ивановна, что, едва вырастив и выпустив из дома дочь, ей снова придётся стать матерью. Снова не спать ночами, потому что режутся зубы, снова учить говорить и ходить, снова завешивать весь двор перестиранными пелёнками. Но тогда, с Катькой, и она помоложе была, и время было другое. А теперь она работала двенадцатичасовую смену в госпитале, еле живая приходила домой и забирала Лёню у соседки Олеси, их спасительницы, Лёниной кормилицы. Счастье великое, что у Олеси хватало молока и на свою дочку, и на подкидыша. Ещё большее счастье, что она согласилась нянчиться сразу с двумя малышами.

Вот и тогда, вернувшись домой, Серафима Ивановна первым делом заглянула к Олесе, поделилась добытым мясом. Дочка Олеси умерла год назад, и никто не понял отчего. Вроде бы простудилась, а там кто разбираться будет. Война, люди каждый день умирают. Лёне повезло, но смотрела на него Серафима Ивановна, и сердце кровью обливалось – слабенький совсем, тихий, ни капли на мать не похож. У Катьки энергия ключом била, не ребёнок, а исчадие ада, вечно на деревьях висела и соседских мальчишек колотила. А Лёня сядет в уголке и может часами кубики перебирать или картинки в книжке разглядывать. Или все они, дети войны, такие? Привыкшие беречь силы.

– Лёня, иди кушать.

Сочи вторую неделю без хлеба. Город снова отрезан от Большой земли, поезда не могут подвезти муку. Кое-как спасаются овощами со своего огорода, но их мало и без хлеба всё равно голодно. Счастье великое, что им сегодня попался дельфин.

Мальчик охотно залез на стул, впился жадными глазами в тарелку. Но едва попробовав сваренное мясо, бросил вилку.

– Не буду…

Дельфинье мясо источало тошнотворный, приторно-сладкий запах. Но всё-таки белок, полезно. Серафима Ивановна сурово сдвинула брови.

– Ешь, что дают. Ничего другого нет.

Наказание какое-то.

– Ешь немедленно! В Ленинграде сейчас люди от голода умирают, а он выделывается! Мясо ему не еда!

Она решительно взяла вилку, сунула кусок ему в рот. Лёня со слезами на глазах пытался жевать, но через несколько секунд вдруг вырвался из-за стола и метнулся за дверь, запнулся об порог, слетел со ступеньки, но всё-таки успел добежать до уборной во дворе. Серафима Ивановна мрачно наблюдала за ним из окна. Это уже не первая попытка накормить его насильно, и каждый раз всё

заканчивается одним и тем же. Желудок у него слабый, ему бы кашку, творог, да где их достать. Конечно, по сравнению с Ленинградом Сочи не голодает: тут и сады, и лес рядом, и море кормит. Но «всё для фронта, всё для победы». Собранный урожай люди несут в госпитали для солдат, а сами перебиваются чем могут.

– И чем мне тебя кормить? – с горечью, обращаясь скорее к себе, чем к мальчику, смущённо утирающему слёзы, спросила Серафима Ивановна.

Куски разваренного мяса лежали на тарелке и остывали, покрываясь белым налётом жира.

– Хлебушком, – тихо сказал Лёня, забиваясь в свой угол.

Хлебушком… Был бы он, хлебушек.

На следующий день Серафима Ивановна взяла Лёню с собой в госпиталь. Усадила в сестринской, пошла готовиться к первой на сегодня операции, как вдруг объявили по громкоговорителю: весь свободный персонал срочно отправляют на железнодорожный вокзал, встречать поезд с мукой. Такая ситуация возникала уже не в первый раз – в оставшемся почти без мужчин городе кто-то должен был разгружать составы. Серафима Ивановна подхватила Лёню и вместе со всеми поспешила на вокзал.

– Ну вот видишь, мука приехала, – объясняла она мальчику по дороге. – Завтра будет хлебушек. Может быть, даже сегодня.

За разгрузку вагонов всем работникам выдадут муки, так что после работы она поставит тесто. Хлебзавод-то хорошо, если к завтрашнему утру успеет партию хлеба выпустить.

Состав уже стоял, и к нему стекались люди.

– Держись за юбку, не потеряйся, – велела Лёне бабушка и поспешила к ближайшему вагону.

Лёня и не собирался теряться, он сам вцепился в её подол. Скопление людей его пугало.

Бабушка ловко подхватывала мешок, взваливала его на плечи, несла к грузовику, ожидавшему на другом конце перрона. Там другая женщина принимала мешок, кидала в грузовик, бабушка возвращалась к вагону. Лёня семенил за ней, разглядывая хмурые лица и низкое серое небо, мечтая о том, как вечером бабушка напечёт лепёшек. Ему уже сейчас хотелось есть, и он представлял, как впивается зубами в ещё горячую, вкусно пахнущую лепёшку.

Они сделали две или три ходки. Лёня успел выучить маршрут, как следует рассмотреть тётеньку, стоявшую в кузове грузовика – у неё на плечах был ярко-красный платок, резко выделяющийся на общем сером фоне. А дяденька военный, который подавал мешки из вагона, улыбался Лёне и подмигивал.

И вдруг всё изменилось. Сначала Лёне почудилось, что земля вздрогнула у него под ногами. Или не почудилось, потому что в следующую секунду он повалился ничком. Бабушка упала на него сверху, прикрывая собой, но краем глаза Лёня видел, как близко-близко, казалось, руку протяни и дотронешься, на бреющем полёте над ним пронёсся немецкий самолёт. Зелёный, с чёрно-красной свастикой на борту. Где-то кричали люди, что-то грохотало и трещало, земля содрогалась снова и снова. Слишком громкие звуки били по ушам, хотелось закрыть их руками, но Лёня не мог пошевелиться, бабушка крепко прижимала его к земле. Вдруг громыхнуло совсем рядом, и Лёня увидел, что пошёл снег. Очень-очень мелкий, он сыпался с неба, кружился в воздухе и оседал на камни мостовой, на бабушкины волосы, даже на Лёнин нос. А потом всё стихло.

– Цел?

Бабушка поднялась сама и подняла его, поставила на ноги, стала отряхивать. Состава на рельсах уже не было. Вместо него лежала груда перекошенного металла, которая медленно покрывалась снегом. Только тогда Лёня понял, что это не снег. Это мука.

По перрону на коленях ползали люди и горстями собирали муку, грязную, перемешанную с землёй, ссыпали кто в мешок, а кто в завязанный узлом подол. Лёня повернулся туда, где стоял грузовик с девушкой, но грузовика тоже не было. А на усыпанной мукой земле лежали обрывок красного платка и такая же

красная, залитая кровью, рука.

– Лёня? Лёня! Ты меня слышишь?

Бабушка тормошила его, пытаясь поймать взгляд.

– Посмотри на меня! Ты в порядке?

– Д-д-да…

Очень тогда Серафиме Ивановне его «д-д-да» не понравилось. Она поспешила увести Лёню домой, забыв про муку, забыв про госпиталь. Лишь бы быстрее уйти от страшного места.

Впоследствии Сочи ещё не раз бомбили и всегда объектом бомбёжки становились вокзал, дороги и порт. Санатории и располагавшиеся за ними жилые кварталы немцы не трогали, берегли город, чтобы потом, после взятия Кавказа, самим воспользоваться благами курорта.

Дома бабушка развила бурную деятельность: растопила баню, отмыла Лёню, переодела в чистое, накормила сваренным из последних овощей супом. Лёня молча ковырялся ложкой в тарелке и вскоре после еды залез на свой топчан, явно устраиваясь спать. Серафима Ивановна открыла шкафчик на кухне, достала склянку с медицинским спиртом, запасы которого всегда хранились в доме, отмерила столовую ложку, развела водой и заставила Лёню выпить. Чтобы нервы успокоить и чтобы спал лучше. Лёня действительно выключился через пару минут.

На следующее утро, когда радиоприёмник заиграл «Союз нерушимый», обычную их побудку, Серафима Ивановна потрясла его за плечо:

– Вставай! Вставай, соня!

Она спешила, к семи утра ей уже надо было быть в госпитале. Лёня открыл глаза, посмотрел на бабушку мутным взглядом.

– Ты сегодня со мной или к Олесе?

Лёня не отвечал. Он сидел в кровати, раскачиваясь вперёд-назад.

– Так куда, Лёня? Со мной?

– С то-то-то…

Лёня запнулся, замолчал совсем и испуганно посмотрел на нахмурившуюся бабушку.

* * *

Прозвище Заика приклеилось к нему во дворе моментально. Дети во все времена одинаковые, но дети военных лет, предоставленные сами себе, воспитывавшиеся без отцов матерями и бабушками, тоже все силы отдававшими фронту, были особенно жестокими и не прощали малейших слабостей. Как только дворовая ребятня узнала, что Лёнчик из третьего дома заикается, она тут же исключила его из своей компании. А какой в нём толк? И так был хлюпиком, а теперь ещё и не поговоришь. Он хочет что-нибудь сказать и застревает на первом слове, пока крикнет «гол», ребята ещё два забьют. Поначалу он пытался отстаивать свои интересы кулаками. Когда кто-нибудь начинал дразнить, кидался на обидчика, но его легко, смеясь отшвыривали, и становилось ещё хуже.

Вскоре бабушка стала замечать, что Лёня всё чаще играет один, а то и вообще не идёт во двор, предпочитая сидеть дома и разглядывать картинки в книжках. Тогда Серафима Ивановна стала постоянно брать его с собой на работу, в госпиталь. Поручала какой-нибудь медсестре, и Лёня целыми днями слонялся за своей очередной нянькой по палатам, ожидая, пока та покончит с перевязками и раздачей лекарств и напоит его чаем или расскажет что-нибудь интересное. Но вскоре он обнаружил, что в госпитале полно детей. Школьники приходили после уроков читать раненым бойцам газеты, развлекали их самодеятельными концертами, приносили гостинцы – собранные в лесу ягоды, лекарственные травы и, самое ценное, самшитовый мох, который использовали вместо ваты. Войдя с медсестрой в палату во время очередного такого импровизированного концерта, он увидел, как, стоя на деревянной табуретке, девочка с двумя толстыми косичками читает стихотворение про Ленина. Лёня замер с открытым от удивления ртом. Его поразила не девочка, знавшая стишок, а то, что

множество взрослых внимательно, в полной тишине слушают её. Для привыкшего слышать «Не мешай!» и «Посиди тихо» Лёни это было настоящим чудом. Когда девочка дочитала, взрослые захлопали, а боец с перевязанной рукой весело сказал:

– Ну-ка, иди сюда, стрекоза! У меня для тебя есть подарок. Давай ладошку!

В протянутую ладошку он высыпал несколько кусочков сахара. И тут Лёня не вытерпел.

– Я-я-я т-т-тоже стихи знаю!

Это прозвучало так звонко и отчаянно, что все засмеялись.

– Он не наш! Он не с нами! – тут же заявила рыженькая девочка. – Ты чей, мальчик?

– Б-б-бабушкин, – смутился Лёня и отчаянно покраснел.

Бойцы засмеялись, а тот, с перевязанной рукой, сказал:

– Ну раз тоже стихи знаешь, давай читай. Тише, девочки, жалко вам, что ли? Смотрите, какой смешной пострел.

Лёня вскарабкался на стульчик и начал, от всеобщего внимания заикаясь сильнее обычного:

– У-у-у Л-л-лукоморья дуб зе-зе-зелёный…

Он не успел закончить первую строчку, как девчонки прыснули со смеху.

– Заика! Да он же заикается! Куда тебе стихи читать! Слезай!

Лёня покраснел ещё сильнее, поняв, что опозорился. К тому же он начисто забыл вторую строчку! Вконец расстроившись, он слез со стула. На глазах выступили слёзы. Бойцы тоже смеялись, но тот, с рукой, качал головой:

– Девочки, девочки, ну зачем вы так? Как тебя зовут, мальчик?

– Ле-ле-леонид, – почему-то он решил назваться полным именем, которым бабушка называла его, когда особенно сердилась.

– О, как моего любимого певца Утёсова! Ты знаешь Утёсова?

Утёсова Лёня не знал.

– Ну а петь ты любишь? – допытывался боец. – Может, ты нам песню споёшь?

Лёня недоверчиво посмотрел на него. Издевается? И так же все смеются. Но раненый заговорщицки ему подмигнул:

– Бьюсь об заклад, петь у тебя получается лучше, чем читать. Правда?

– Н-н-не знаю…

Пение никогда его особенно не интересовало, он и песню-то знал всего одну.

– А ты попробуй! Если получится, подарю тебе пряник.

Слово «пряник» Лёня знал очень хорошо – на Новый год папа прислал ему из Москвы кулёк пряников. «Спецпайковых», как сказала бабушка, твёрдых, будто камень, но очень вкусных, и он грыз их, макая в чай и прикрывая глаза от счастья.

– Какую ты песню знаешь? – продолжал допытываться боец.

– Со-со-союз нерушимый…

– Ого, репертуарчик! – уважительно протянул тот. – Ну давай вместе, я тебе подпою. Союз нерушимый…

– Республик свободных, – неожиданно легко подхватил Лёня, – сплотила навеки великая Русь…

Он пел громко, стараясь перекричать своего помощника, – ему вдруг показалось, что тот поёт неправильно, и у Лёни возникло ему самому непонятное желание выправить мотив, чтобы было так, как передавали по радио.

Все в палате притихли. Смеяться никто и не думал. А воодушевлённый успехом Лёня пел всё громче и громче. Он понятия не имел, о чём поёт, про какие такие республики, и почему союз создан волей народа. Но совершенно точно повторял мелодию, без единой фальшивой ноты.

Его не перебивали, и Лёня благополучно допел до конца. А потом чуть не свалился с табуретки от накрывшего его грома аплодисментов.

– Ай да пострел! – веселились раненые. – А как чисто поёт-то! И с каким чувством! Парень, да у тебя настоящий талант.

– И ты не заикаешься, когда поёшь, ты это понял? Держи, вот твой пряник!

Честно заработанный пряник перекочевал к Лёне, а со всех сторон ему уже тянули кусочки сахара.

– Чтобы не заикаться, тебе нужно петь, понимаешь? – убеждал его раненый с перевязанной рукой. – Говорить нараспев, растягивая слова.

– А ведь верно говорит Серго! – крикнул кто-то с дальней койки. – Как ты догадался-то?

– Так я знал, – улыбался Серго. – У меня вот в роте старшина тоже заикался, контузия. Так он пропевал то, что хотел сказать, и нормально было. Мы его так и звали – певун!

До самого вечера Лёня «репетировал», пытался петь то, что хочет сказать, мечтал о том, как удивит бабушку. Иногда получалось, иногда не очень. Но когда Серафима Ивановна, еле живая после четырёх проведённых подряд операций, ввалилась в сестринскую забирать внука, он встретил её заготовленной фразой:

– Ба-а-бушка, а-а та-ак я не за-а-икаюсь!

В сестринской шумели медсёстры, которые как раз передавали смену, и бабушка мало что поняла из этой полупропетой-полусказанной фразы, но кивнула:

– Молодец. Собирайся, пойдём домой.

С тех пор Лёня стал постоянным участником госпитальных концертов. Бойцы его знали, выздоравливающие рассказывали о маленьком певце вновь прибывшим, и Лёню были рады видеть в каждой палате. К гимну скоро добавились новые песни – кто-то из солдат напел ему «Синий платочек» и «Идёт война народная», не поленился разучить с мальчиком слова. Слова для Лёни были самым сложным, а вот мелодию достаточно было услышать один раз, потом он мог безошибочно её повторить. Каждое выступление заканчивалось аплодисментами и сладостями. Бойцы специально откладывали сахар «для Лёнчика», как они его называли. Случалось, что он и обедал из одной миски с каким-нибудь сердобольным солдатом. Но выступал Лёня не из-за этих гонораров. Главным было то тёплое чувство, которое неизменно рождалось в груди, когда он становился на табуреточку и десятки взрослых смотрели на него, внимательно его слушали.

* * *

Из дневника Бориса Карлинского:

Сначала я его, конечно, побил. Ну а как его было не побить, хлюпика? Так получилось, что мы все оказались в одном классе – ребята с Курортного переулка. А он с Ворошиловской. У нас своя устоявшаяся компания, свои союзы и конфликты. Я во главе одного лагеря, Васька Рябой во главе другого. И тут он, ни к селу ни к городу. С парусиновым портфельчиком и в штанах на одной пуговице. С этой пуговицы всё и началось.

– Эй ты, мелкий, карман застегни! – посоветовал я ему, проходя мимо. – А то вывалится!

Он смешно захлопал руками по карманам штанов, так и не поняв, что я говорю про ширинку.

– К-к-кто вы-вы-вывалится? – пробормотал он.

Ну и тут началось. Эту фразу услышали остальные ребята, тут же столпились вокруг него.

– Смотрите, так он ещё и заика!

– Голодранец и заика!

– Заика, заика!

Откровенно говоря, все мы были тогда голодранцами. А кем ещё мы могли быть? Только что закончилась война, страна старательно зализывала раны. Даже карточки ещё не отменили, одежду купить невозможно. К первому сентября родители постарались нас приодеть, но что это были за наряды? Мне мать сварганила рубашку из своей старой кофты, светло-бежевой, почти белой, но, если приглядеться, на правом рукаве можно было увидеть бледно-розовый цветочек. Это мне ещё повезло, что цветочек приходился на подмышку, и никто его не замечал. А обувь почти у всего класса чиненая-перечиненная. Подмётку пришивали до тех пор, пока она не стиралась до дыр. А потом её заменяли на деревянную. У меня дед умел выстрогать такую, тонкую-тонкую, и приладить так, что от родной и не отличишь. При этом мы ботинки носили только в школу, а по двору чуть не до января босиком бегали.

В общем, такие же мы были голодранцы, как и он. И, видимо, нам очень хотелось почувствовать своё превосходство хоть над кем-нибудь. А тут такая мишень – и штаны у него не застёгнуты, и заикается.

– Я-а не за-а-икаюсь! – вдруг выдал хлюпик нараспев.

И все засмеялись ещё больше от этого его полузаикания-полупения. В общем, мы его побили. Не очень сильно, так, я толкнул его, он упал, кто-то наподдал сзади. Но в этот момент в класс вошла учительница, и мы тут же разбежались по местам, он один на полу в проходе остался. Ну, думаю, сейчас закатит истерику, нажалуется. Но он на удивление быстро собрался и юркнул за последнюю парту, учительница ничего и не заметила. Чем тот день закончился, я уже и не помню. Всё-таки пятьдесят с лишним лет прошло. Но иначе, как заикой, его в классе не называли. Хотя на самом деле он мог говорить и не заикаясь, нараспев. Он так и

у доски отвечал потом, а все со смеху покатывались. Он краснел, нервничал, сбивался и снова начинал заикаться. Учительница ругалась на нас, но эта сцена повторялась снова и снова.

А дружба? С чего же началась наша дружба? Кажется, с моей свинки. Да, точно, со свинки. Где я умудрился ею заразиться, понятия не имею. Температура поднялась, морду раздуло так, что я правда на свинью стал похож. Лежу дома, болею. Первые дни даже радовался: в школу ходить не надо, мамка вокруг бегает, вкусненьким угощает, даже банку тутового варенья открыла, которую для особого случая берегла. А потом скучно стало одному. У нас же какое детство было? Ни телевизоров, ни компьютеров этих с интернетом. Это сейчас дети в три года сами себе планшет включили, мультики нашли и смотрят. А у нас телевизор был один на три дома, и для детей там передавали одну программу в неделю. В общем, я заскучал. Друзья меня не навещали, им родители строго-настрого запретили. Свинка – она ведь не просто заразная. Говорят, на мальчиков может так подействовать, что потом детей не будет. И все друзья, запуганные ужасными последствиями свинки, обходили мой дом за километр.

И вот на третий день появляется это недоразумение. Мама ему дверь открыла и давай руками махать:

– Иди, иди, мальчик, нельзя к Боре, заразишься.

А он на удивление внятно и так рассудительно ей:

– Не-е бо-ойтесь, Вера Иса-аковна, я уже бо-олел свинкой! У ме-еня им-му-ни-тет!

Так и сказал: иммунитет! И даже не споткнулся на умном слове. Это его бабушка Сима научила, конечно. Мама моя дар речи потеряла от такого чуда. А он продолжил:

– Я-а Бо-оре до-омашнее за-адание при-и-нёс!

Я хотел выскочить в коридор и дать этому хлюпику по шее. Додумался, тоже мне! Лучше бы чего хорошего принёс, а то – домашнее задание! Но почему-то не выскочил. И когда Лёнька вошёл ко мне в комнату и достал тетрадки, стал вместе с ним делать задание и спрашивать, что там в школе. Мы разговорились

и, странное дело, теперь меня его замедленная манера говорить уже не раздражала. А потом мама поила нас чаем с «пирожными». О, это был особенный деликатес послевоенного детства! Кусочек хлеба мазался тончайшим слоем масла, а сверху посыпался сахарным песком. Пирожное нужно было есть «правильно», растягивая удовольствие: сначала слизать языком сахарный песок, потом масло и только потом съесть хлеб.

Лёнька никогда до этого пирожные не пробовал, и я научил его, как надо с ними обращаться. И мы сидели за столом, накрытым белой (и не дай бог чем-нибудь на нее капнуть!) льняной скатертью, болтали ногами и слизывали сахар, прихлёбывая горячий чай.

Так он ко мне две недели ходил, пока я не выздоровел. А когда наступило время идти в школу, я всё утро думал, как быть. Лёнька считал меня теперь если не другом, то хотя бы приятелем. В классе он наверняка подойдёт ко мне, начнёт что-то говорить. Как к этому отнесутся ребята? В общем, я думал, мучился, пока не дошёл до школы и не поднялся на второй этаж, где был наш класс. Только дверь открыл – ко мне все мои пацаны кинулись. Обнимают, пихают, чего-то орут. И я забыл про Лёньку.

После второго урока нас кормили. Не бог весть чем, но мы все ждали второй перемены, чуть ли не ради неё в школу ходили. Ну а что с нас взять, вечно голодное поколение. Мы спускались в столовую и выстраивались в очередь перед раздаточным столом, а тётя Надя выдавала каждому его порцию. Обычно давали кусок хлеба и стакан чая, но иногда, в сезон, нам перепадало по яблоку или мандаринине. В тот день как раз давали мандарины, и ажиотаж у стола был бешеный. Все пихались, не соблюдали очередь. Во-первых, вдруг не хватит? Во-вторых, нужно было как можно скорее получить свою порцию, чтобы потом, устроившись у окна например, с наслаждением, не торопясь смаковать каждую дольку, сначала обгрызать белые остатки шкурки, потом аккуратно, чтобы не порвать, стаскивать зубами тонкую плёночку, обнажая мякоть, а потом съедать её медленно, разделяя на волокна, смешивая яркий вкус сока со слюной.

Лёнька всегда был быстрый, юркий, как-то у него получилось одним из первых просочиться в столовую и встать в очередь. Я зазевался на лестнице и оказался человек через пять после него. Ну стою себе и стою, на него даже внимания не обращаю. И тут в столовую заходит Сенька, один из моих приятелей. Окидывает взглядом очередь, хмыкает и направляется к Лёньке.

– Эй ты, Заика, уступи место старшему.

Лёнька на него глаза свои серо-стальные поднимает и смотрит в упор. Что меня всегда в нём поражало, так это глаза. Потом-то, конечно, когда он уже стал Волком, этот взгляд вполне сочетался с его образом. И на сцене, когда он комсомольские песни пел, и за кулисами, когда на звукорежиссёра орал. Но когда хлюпик, от горшка два вершка, пронзает взглядом крепкого такого и не чурающегося рукоприкладства Сеньку, смотрится это жутковато.

– В-в-вста-ань в о-о-очередь!

– Что ты сказал?!

Сенька мгновенно вышел из себя. Схватил Лёньку за плечо и выдернул из очереди, замахнулся, но ударить не успел. Я даже не знаю, в какой момент принял решение, всё само собой произошло. Перехватил руку Сеньки и влепил ему в живот коленом. Честно говоря, последнее было уже лишним, но инстинкт! Мы же, пацаны, чуть не каждый день во дворе дрались и друг с другом, и с чужими, только повод дай.

– Ты чего? – Сенька с трудом разогнувшись, смотрел на меня оторопело, даже не думая сопротивляться, слишком был ошарашен. – Это же Заика!

– Встань в очередь, – буркнул я. – А то мандаринка не достанется.

С того дня Лёньку в школе не били. Ну а кому охота со мной связываться? Хотя мне больше не приходилось его защищать и я даже не рассказывал никому про наше странное сближение во время моей свинки. Все сами как-то признали, что он тоже человек.

Но по-настоящему дружить мы стали позже. Впрочем, об этом в другой раз. Я и так сегодня что-то расписался. Однако, бумагомарательство – такая же зараза, как звукоизвлечение. Лёнька мне всегда говорил, что пение – это наркотик. Однажды научившись получать от него кайф, потом не можешь остановиться. Вот и с писательством то же самое. Зря я, конечно, сравниваю, он всю жизнь поёт, а я писать начал только недавно и вряд ли могу считать себя профессионалом. Но должен же я написать о нём правду! Иначе потом другие напишут такое, что мало не покажется. Взять хоть Оксанку сумасшедшую. Эта

последние мозги пропившая дура горазда на откровения. Или Натали вдруг перемкнёт издать мемуары. Да и сколько всяких писак, желающих заработать денег на имени Волка! Нет уж, лучше я сам. А что? Писатель Борис Карлинский! Звучит не хуже, чем доктор Борис Карлинский…

* * *

Из дневника Бориса Карлинского:

Была у меня одна тайна, которую я тщательно скрывал в школе. Что, заметьте, было весьма сложно: город у нас небольшой, а дружили в те времена между собой не только дети, но и взрослые, соседи по двору, коллеги по работе. Если учесть, что почти все наши матери и бабушки с Курортного переулка обслуживали санаторий имени Орджоникидзе, кто в качестве нянечки, а кто, как незабвенная Серафима Ивановна, и в качестве врача, то я вообще поражаюсь, как мне удавалось так долго сохранять свой секрет. Как моя мама не похвасталась никому на работе, что «наш Бобочка – таки настоящий Рихтер», и в классе не узнали, что «Бобочка» ежедневно мучает ненавистный инструмент! А другим словом этот процесс и назвать было нельзя.

Уж не знаю, кто решил, что ребёнку обязательно нужно заниматься музыкой, но факт остаётся фактом: в нашей семье на пианино играли и мама, и дед, и все предки, которых я никогда в глаза не видел, но о которых постоянно слышал. Причём, по словам мамы, выходило, что чем более далёким был предок, тем виртуознее он обращался с клавишами. И ему, конечно, было бы очень стыдно, если бы он услышал, что вытворяю на почтенном инструменте я.

Инструмент и правда был почтенный. Чёрное фортепиано с пожелтевшими, цвета кофе с молоком, клавишами занимало целую стену нашей небольшой «парадной» комнаты. Мне всегда казалось, что фортепиано уделяется слишком много места в доме, весьма скромном, потому что, кроме комнаты, где спали мы с дедом, оставалась ещё крохотная спальня мамы и такая же крохотная кухня. Пианино было немецким, дореволюционным. О немецком его происхождении я догадывался по непонятной надписи BECHSTEIN на крышке, а о дореволюционном – по двум бронзовым подсвечникам, которыми сейчас, конечно, никто не пользовался.

Пианино было единственной дорогой вещью, которую мама привезла в Сочи, когда её направили по распределению на тогда только начавший отстраиваться курорт. Могу себе сейчас это представить: голые стены, матрасы на полу, вместо обеденного стола – ящик из-под бутылок. И пианино с бронзовыми подсвечниками! Но надо знать мою маму! Она уже тогда, наверное, знала, что у неё родится мальчик и его обязательно нужно будет учить музыке. Или девочка, какая разница!

Одним словом, меня учили музыке. Частным образом, потому что в музыкальную школу я отказался ходить категорически, такого позора я бы не перенёс. Старенький преподаватель три раза в неделю появлялся у нас дома, и я люто ненавидел те часы, которые проводил в его обществе. В те же дни, когда он не приходил, мне всё равно нужно было час отсиживать за инструментом, раз за разом отрабатывая какой-нибудь этюд.

В такой момент меня Лёнька и застал. В школе он по-прежнему держался отстранённо. Мы здоровались, могли переброситься парой фраз, признаюсь, я и списать у него мог, учился-то он прилично. Но в наших классных проказах Лёня участия не принимал, да его просто и не звали. На переменах он сидел за партой и что-нибудь рисовал. А домой ко мне иногда приходил, под благовидным предлогом – сделать вместе сложное домашнее задание или подготовиться к контрольной. Мама моя всячески наше общение приветствовала, считая, что Лёня – подходящая компания, в отличие от тех оболтусов, с которыми я обычно шатался. Да и я не был против его визитов, с Лёнькой-то уроки учить или к контрольной готовиться куда сподручнее. Но при Лёньке я на пианино никогда не играл и всячески показывал своё пренебрежение к инструменту, который непонятно зачем тут стоит.

А в тот раз он меня застукал. Вошёл в комнату, когда я играл. Я захлопнул крышку, едва не прищемив пальцы, но было поздно – он всё видел. И слышал.

Я с вызовом посмотрел на него, мол, ну давай, смейся. Но он не смеялся. Стоял зачарованный и смотрел своими невозможными серыми глазами серьёзно-серьёзно.

– Привет, – буркнул я, отодвигаясь от пианино. – Чего припёрся?

Он пожал плечами:

– За-автра ди-иктант. А у те-ебя че-ередующиеся гла-асные хро-омают.

До всего ему дело есть! Ну хромают, зато не заикаются. К тому моменту я уже научился его понимать, привык к этому полупению.

– Ладно, давай разберём эти твои гласные, – проворчал я.

– Бо-орьк, – протянул Лёня. – А мо-ожно я то-то-то-оже по-по-попробую?

Я даже не сразу сообразил, про что он. Но, судя по усилившемуся заиканию, Лёнька был сильно взволнован.

– Что попробуешь?

– По-по-поиграть. По-по-покажи!

Ёлки зелёные, нашёл развлечение! Но мне жалко, что ли? Открыл крышку, придвинул второй стул.

– Ну вот, смотри. Это упражнение, песенка. К каждому слогу своя нота, я так лучше запоминаю. Играешь и подпеваешь, можно про себя. «Как под гор-кой под го-рой тор-го-вал му-жик зо-лой».

Я чёртову песенку уже полтора месяца мучил. А это недоразумение заикающееся один раз послушало, два раза посмотрело, как я играю, и вдруг выдало, без единой запинки: «Кар-то-шка мо-я, ты под-жа-рис-тая!»

Руки он, конечно, неправильно держал, не «яблочком», а параллельно клавишам, но не ошибся ни разу! И тут же ещё раз сыграл, с самого начала.

– Боря, ну наконец-то! – раздался из кухни страдальческий голос мамы. – У меня уже изжога от твоей «картошки»!

Она вошла в комнату и увидела Лёньку, в третий раз играющего «картошку».

– Боже, я так и знала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Лёня, ты тоже занимаешься музыкой?

Недоразумение отрицательно помотало головой.

– Нет? Но это же ты сейчас играл?

– Он, он, – мрачно подтвердил я. – Я один раз ему показал, и он сыграл.

– Так у ребёнка же талант! – воскликнула мама. – Тебе нужно учиться! Я обязательно скажу твоей бабушке!

И, ещё что-то причитая, она убежала на кухню, где подгорала, судя по запаху, как раз картошка.

– Доигрался, Лёнька. Теперь тебя тоже заставят музыкой заниматься!

– Ты-ты-ты се-ерьёзно та-ак ду-умаешь?

У него аж глаза засияли! Вот ведь дурень! Не понимает, на какую каторгу подписывается!

– У на-ас пиа-анино не-ет!

– Боюсь, мою маму это не остановит, – вздохнул я, прекрасно зная маман и её неукротимую энергию.

И оказался прав.

* * *

С самого начала Лёня в успех этого предприятия не верил. Бабушка была во всех отношениях человеком сугубо практичным, двумя ногами стоящим на земле. А музыка – занятие без конкретной практической пользы, да ещё и требующее затрат. У Борьки-то вон, пианино есть, да ещё и преподавателю они платят. Бабушка, уж конечно, не согласится покупать пианино и оплачивать уроки. Да

Лёня и не решился бы просить ее об этом. С раннего детства он твёрдо усвоил, что «мы – люди небогатые, на других не смотрим и радуемся тому, что имеем». Эту фразу бабушка произносила, когда Лёня приходил с разодранными штанами или пробовал заговорить о велосипеде. Серафима Ивановна покупала только то, что было действительно необходимо, а новые штаны, когда старые ещё не сносилось, и тем более велосипед необходимыми вещами не считались. Даже на мороженое, восхитительные кругляши застывшего молока между чуть раскисшими от постоянной сочинской влажности вафлями, или холодный терпкий квас, который летом продавали в Сочи повсюду, у Лёни никогда не было денег. И эти лакомства были бы для него недоступны, если бы не Борька. Его мама считала, что у ребёнка обязательно должны водиться деньги, как у них дома говорили – «на карманные расходы». Лёня один раз стал свидетелем того, как Боря с совершенно будничным видом подошёл к матери и попросил денег на завтра. И Вера Исааковна так же спокойно, словно это было нечто само собой разумеющееся, открыла сумку, достала кошелёк и отсыпала ему мелочь. Для Лёни это была фантастическая картинка. Но, к чести Бори, он всегда угощал купленными на карманные деньги лакомствами кого-нибудь из приятелей, оказавшихся рядом, и чаще всего этим кем-нибудь становился Лёня.

Когда Вера Исааковна успела поговорить с бабушкой, Лёня не знал. Но через несколько дней после того случая в доме Борьки Серафима Ивановна, пораньше освободившаяся с работы, высунулась в окно и как обычно рявкнула на весь двор:

– Леонид, домой зайди немедленно!

Лёня иногда представлял, что на своих пациентов бабушка так же рявкает и они только от этого и выздоравливают – как по команде. Пришлось бросить начатое занятие – он сосредоточенно обдирал финиковую пальму. Финики у них всё равно не вызревали, а недозревшие плоды были отличными боеприпасами для рогаток. Домой явился грязный, весь обсыпанный пальмовой требухой.

– На что ты похож! – всплеснула руками бабушка. – Мыться немедленно! Мы пойдём в одно важное место.

Пока Лёня полоскался под рукомойником, он гадал, в какое такое важное место они с бабушкой должны пойти. Если бабушка надевает пиджак с наградами, значит, место действительно важное.

Он начал догадываться, когда они свернули с Ворошиловской и стали спускаться вниз, к Курортному проспекту, но не смел поверить своему счастью. И только когда впереди показалось жёлтое двухэтажное здание, он спросил:

– Ба-аб, а мы что, в му-узыкальную шко-олу идём?

– Идём, – буркнула бабушка. – Постарайся не заикаться. Если тебя будут о чём-то спрашивать, говори медленно, спокойно.

Но говорить ему особенно и не пришлось. С преподавателем, смешным коротышкой с торчащими во все стороны седыми волосами, тоже фронтовиком, беседовала бабушка за закрытыми дверьми. Потом коротышка позвал Лёню, маявшегося в коридоре. В комнате стояло пианино, совсем не похожее на Борькино, коричневое, полированное, как бабушкино трюмо, перед которым она причёсывалась. Эта полировка очень Лёне не понравилась, она как-то упрощала инструмент, делала его обычным предметом мебели.

– Ну иди сюда, Лёня Волк, – доброжелательно проговорил коротышка. – Скажи, ты хочешь заниматься музыкой?

Лёня кивнул.

– Отлично, отлично, – потёр коротышка руки. – Когда у ребёнка есть желание, это самое главное. Вы понимаете, Серафима Ивановна, они все сейчас хотят играть в войну и купаться в море. Никто не хочет играть на инструменте. А вот раньше, я помню…

Но он сам себя оборвал, решив не ударяться в воспоминания.

– Лёня, я прохлопаю тебе ритм, постарайся повторить.

И смешной дяденька несколько раз ударил в ладоши с разным интервалом. Лёня подумал, что над ним подшучивают. Но коротышка вопросительно на него смотрел и ждал. Пожав плечами, Лёня без малейшего усилия повторил хлопки. Он искренне не понимал, какое они имеют отношение к музыке.

– Замечательно! – Коротышка прямо расцвёл. – Ну, петь я тебя не прошу, да? Как же нам слух проверить?..

– Я-а лю-юблю пе-еть, – неожиданно подал голос Лёня. – Я-а в го-оспитале пе-ел.

Дяденька растерялся. Серафима Ивановна уже успела ему рассказать, что мальчик заикается, но не упомянула, что он может петь. Не сочла нужным. Она вообще с неохотой вспоминала Лёнины концерты в госпитале, считая их баловством.

Всё это время Лёня не сводил глаз с пианино. Оно хоть и было неправильное, не такое, как у Борьки, но на нём ведь тоже, наверное, можно играть? Ему очень хотелось попробовать.

– Ну, спой нам что-нибудь, – предложил дяденька. – Какую песню ты знаешь?

– Про ка-артошку, – выдал Лёня. – Мо-ожно с му-узыкой? Та-ак кра-асивее.

– Хорошо, давай я тебе подыграю.

Дяденька собрался было сесть за инструмент, но Лёня его опередил.

– Я са-ам.

Ему хотелось проверить, получится у него ещё раз сыграть «картошку» или нет. Вроде вот с этой клавиши начинается.

– Как под гор-кой под го-рой тор-го-вал му-жик зо-лой.

Руки проворно перемещались по клавиатуре, и от того, что получалось, Лёня сам приходил в восторг. Одна нотка закралась неправильная, забыл, какую клавишу нужно нажимать, но, услышав не тот звук, Лёня мотнул головой и тут же исправился.

– Так, а что же вы мне говорите, что ребёнок никогда не играл? – возмутился дяденька.

– Да у нас даже инструмента нет! – Серафима Ивановна и сама была поражена. – Это он у соседского мальчика набрался.

– Все бы так набирались! – хмыкнул коротышка. – Занятия по средам и пятницам, Лёня, с четырёх часов. Найдёшь класс Ильи Степановича, это я. Запомнил? И нотную тетрадь принеси.

Нотной тетради у Лёни не было, но по дороге домой они зашли в магазин «Канцтовары» и купили тетрадь. Обычную, в клеточку, нотной в магазине не нашлось. Но потом, дома, он аккуратно, по линеечке начертил нотный стан, а в начале каждой строчки старательно вывел скрипичный ключ – скопировал по памяти из тетрадки Бори. А ещё Лёне купили мороженое, которое бабушка вручила ему молча, но он понял, что это она его похвалила как могла.

Леонид Витальевич подзабытым, а когда-то таким привычным движением размял кисти, ладонью одной руки отгибая назад пальцы другой, насколько хватило растяжки, а потом начал «играть» на одеяле полонез Огинского. «Прощание с Родиной». Руки помнили, перед глазами возник нотный лист, исписанный убористым почерком, – ноты в его детстве были великой ценностью, одна отпечатанная книжка на класс, и ученики переписывали новое произведение, которое предстояло разучить, каждый себе в самодельные разлинованные тетрадки. Впрочем, ему это было даже удобно – он так лучше запоминал. Потом стоило пару раз сыграть, и он уже знал мелодию наизусть. Оставалось только отработать технику, сложные места.

Сейчас с техникой уже проблемы. Музыка ревнива и измен не прощает. Если не заниматься хотя бы несколько месяцев, теряешь львиную долю наработанных навыков. А сколько лет он уже не играл? Аккомпанирование себе не в счёт, три аккорда современной песни может сыграть и второклассник музыкальной школы.

«Па-ра-ра-ра-ра ра-ра-ра-ра, та-да-та-там та-та-та-там…» Мелодия звучала в голове, а вот напеть он её не мог. Прямо как тогда, в детстве. Нет, ещё хуже.

В музыкальной школе его постоянно хвалили. Илья Степанович нарадоваться не мог на талантливого ученика, приводил его в пример неуспевающим: вот, мол, мало того что пришёл в середине года и вас, неучей, догнал, так ещё и без своего инструмента умудряется заниматься.

Своего инструмента у Лёни не было до четвёртого класса, поэтому он приходил в музыкальную школу не только по средам и пятницам, но и по всем остальным дням. Илья Степанович всегда находил для него свободную аудиторию, и на очередной казённой «Ласточке», морщась от плоского звука конвейерного, «доступного для народа» инструмента, Лёня разучивал какую-нибудь фугу Баха. Зато настоящим удовольствием было сыграть выученное на «Бехштейне» в доме Карлинских. Вот там был настоящий звук, там Бах звучал в полную силу на радость Вере Исааковне, тайком утирающей слёзы умиления. Что интересно, Борька не завидовал, искренне радовался успехам приятеля. А ещё больше радовался, что его собственные занятия музыкой прекратились – мама просто махнула на него рукой, видимо, почувствовав разницу потенциалов. И за это Борька был особенно Лёне благодарен.

В такой ситуации естественно было бы загордиться, начать задирать нос. Но Лёня относился к своей внезапно обнаруженной одарённости спокойно, прежде всего потому, что музыкальная школа и дом Карлинских были единственными местами, где его хвалили. Бабушка никак не комментировала его успехи, хотя оба дневника – и школьный, и для музыкалки, проверяла исправно. И если что не так, получал Лёня по полной программе. Бабушка никогда его не наказывала, но отчитывала так, что запоминал он надолго. Неприятности случались обычно с устными предметами. Поняв, что учителя не спешат его вызывать к доске, а если и вызовут, то дело всё равно кончится тройкой, Лёня просто перестал готовить уроки. И если вдруг преподавателю приходило в голову спросить его, Лёня поднимался и покаянно говорил:

– Я не-е вы-у-чил.

Ему и правда было проще получить двойку, а потом закрыть её хорошей оценкой за письменную работу, чем мучиться у доски под хихиканье всего класса. И смысл при таком раскладе учить?

Вскоре его равнодушие перешло и на другие предметы, так что в обычную школу он ходил просто отбывать повинность. В музыкальной он тоже друзей не нашёл. На общих уроках сольфеджио старался молчать, долгое время ему даже удавалось скрывать от одноклассников своё заикание. Но потом всё открылось, над ним опять стали смеяться, дразнили и он замкнулся, переехал на последнюю парту, на урок старался приходить последним, чуть не со звонком, когда все уже рассядутся, а уходил первым, срываясь с места, как только учитель их отпускал. На хоровые занятия он приходил так же. Хормейстер сначала хотел его от этих

уроков освободить, но Лёня во время пения не заикался, что и продемонстрировал преподавателю. А так как пел он чистым и звонким мальчишеским дискантом, как и в игре на пианино не позволяя себе ни одного фальшивого звука, то вскоре стал не просто полноправным членом хора, но и солистом.

Вот в таких противоречиях он и жил. Они же не позволяли ни зазнаться, ни окончательно впасть в уныние. А в четвёртом классе у него появилось собственное пианино.

* * *

Позже в памяти Лёни неразрывно связались эти два события: приезд отца и покупка пианино. Отец навещал их нечасто, пару раз в год, и каждый его визит оказывался тяжким испытанием для Лёниной психики.

Первый раз он появился в сорок пятом, сразу после войны. Лёня с утра ждал похода на море – бабушка всю неделю обещала, что, когда наступит выходной, они пойдут на пляж. Лёня уже предвкушал, как будет бултыхаться в прохладной воде, прыгать на волны и воображать себя морским царём, резвящимся в своих владениях. Но бабушка вдруг заявила, что на море они сегодня не пойдут.

– К нам приедет очень важный гость! – сказала она.

Тут только Лёня обратил внимание, что бабушка со вчерашнего дня какая-то не такая, хмурится больше обычного, наводит везде порядок и за тесто взялась, пироги печь.

– Что за го-ость?

– Отец твой приедет, – шёпотом сообщила ему Олеся.

Его неизменная нянька после гибели собственного ребёнка ещё теплее стала относиться к Лёне, частенько заглядывала к Серафиме Петровне и возилась с мальчиком.

Лёня тогда не знал, как ему реагировать. Отца он, разумеется, не помнил.

– Папа заберёт тебя в Москву, – вдруг сказала Олеся. – Там знаешь, как здорово? Там Красная площадь, и Кремль, и парк с каруселями есть!

Лёня растерянно теребил пуговицу на штанишках, не зная, радоваться ему или грустить. Папа, герой, фронтовик, весь увешанный орденами и медалями, совершивший в войну кучу подвигов и победивший фашистов, жил у него в фантазиях уже давно. И было здорово, что папа приедет! Но Лёня совсем не понимал, зачем уезжать в Москву. Для него это было всего лишь слово, которое ни о чем ему не говорило. Он не видел ни Кремля, ни Красной площади, а парк с каруселями у них и в Сочи был. Бабушка однажды водила их кататься.

– А мо-оре в Мо-оскве есть? – спросил Лёня.

– Море? Моря нет, – улыбнулась Олеся. – Да зачем тебе море? Там Москва-река есть, это ещё лучше! В ней тоже купаются. Только плавать надо уметь. А ты вот на море живёшь, а плавать не умеешь.

Это было правдой, плавать Лёня никак не мог научиться. И окончательно расстроился, решив, что не нужна ему никакая Москва. В море вот можно купаться, даже если ты плавать не умеешь, плюхайся себе возле берега, и замечательно. Расстроенный, он ушёл во двор возиться в песке, машину которого недавно привезли и высыпали возле соседнего дома на радость всей окрестной малышне. Песок предназначался для каких-то строительных дел, но стройка всё никак не начиналась и дети с восторгом лепили куличики и возводили песчаные за?мки. А когда спустя несколько часов по бабушкиному окрику из окна Лёня вернулся домой, за столом сидел незнакомый человек в военной форме. Как и в Лёниных фантазиях, у него были ордена, хоть и гораздо меньше, чем Лёня себе представлял. Но во всём остальном он разительно отличался от героя Лёниных грёз. Серые глаза смотрели пристально, словно просвечивали насквозь каждый предмет, каждое лицо. От него пахло табаком и пылью, и он совсем не улыбался. Увидев Лёню, он не распахнул объятий, не сделал никакого движения, только ровным, спокойным голосом сказал:

– Ну здравствуй, младший Волк. Иди, будем знакомиться.

В то время Лёня ещё даже не знал, что он Волк. Но к отцу нерешительно подошёл, дал погладить себя по голове неловкой жёсткой ладонью, после чего так же молча залез на свой стул рядом с бабушкой и потянулся к тарелкам –

бабушка к приезду гостя напекла пирогов, наварила картошки и достала из погреба банку огурцов собственного соления, пропускать такое угощение было никак нельзя.

– Правильно, сынок, война войной, а обед по расписанию, – хмыкнул человек в форме. – Ну что, Серафима Ивановна, давай ещё по одной.

Бабушка кивнула и позволила налить себе в гранёный стакан разведённого спирта.

– Он совсем не говорит? – спросил отец, опустив стакан на стол и переведя дыхание.

– Говорит, да так, что не остановишь. В госпитале целыми днями с ранеными болтал, развлекал их, пел. Он, когда поёт, не заикается. И, если не нервничает, нараспев говорит, тоже понять можно. Но чужих стесняется. Боится, что начнут смеяться.

– Ты меня боишься, сын? – Человек в форме наклонился к нему и требовательно посмотрел в глаза. – Разве я – чужой? Ну, скажи что-нибудь! Чем ты на улице занимался?

От этой настойчивости Лёня совсем засмущался, даже есть перехотелось. Но от него явно ждали ответа.

– В пе-е-е-еске и-и-играл.

Бабушка тяжело вздохнула и перевела:

– В песке он играл. Петренко летнюю кухню затеял строить, где-то машину песка достал, а цемента сейчас не найдёшь. Так ребятня уже полмашины на куличики растаскала.

Отец покачал головой.

– Серафима Ивановна, его надо лечить. Это же невозможно!

– Думаешь, я не понимаю? Только у кого? У нас здесь сплошь военврачи. Они могут вытащить пулю и собрать по частям оторванную конечность, но заикание они лечить не умеют. Узнавала я уже, нет у нас нужного специалиста.

– Так в Москве есть! Я заберу его, найду врача. У меня же, сама понимаешь, связи.

Лёня мрачно смотрел на отца. Зачем ему куда-то ехать? Ему и тут хорошо, с бабушкой. Разговоры про докторов совсем его напугали. Он вяло ковырял вилкой картошку, постепенно превращая её в пюре, и молчал. Бабушка заметила его манипуляции и вскипела.

– Вот же ещё беда с едой его! А ну, дай сюда!

Она решительно отобрала у него вилку, поддела остатки картошки и отточенным движением отправила ему в рот.

– Наказание господнее, а не ребёнок. Ну-ка, брысь из-за стола!

Лёня мигом ретировался в свой угол, хорошо зная, когда можно ныть, а когда бабушка уже дошла до градуса кипения и с ней лучше не спорить.

– На море я его сегодня сводить обещала, – сообщила она. – А в связи с твоим приездом поход отменился.

– Зачем же отменять? Мы пойдём на море! – решительно сказал отец. – Я тоже с удовольствием искупаюсь! Да, Лёня? На море пойдём?

Тотчас же Лёня забыл про все обиды и радостно и шумно стал собираться на море. Прихватили с собой и Олесю, явно строившую глазки заезжему фронтовику.

Бабушка с ними не пошла, для неё поход на пляж был тяжким испытанием – по жаре с горы, назад в гору, там ещё следи, чтоб Лёня не утонул или воды не наглотался. Понимая как врач, что морские купания – это прекрасный способ оздоровить ребёнка, она скрепя сердце шла на этот подвиг, но раз уж выпала такая возможность, с удовольствием отправила внука с Виталием. О чём потом

горько пожалела.

В тот день она впервые увидела старшего Волка, в то время лейтенанта спецвойск НКВД, фронтовика, абсолютно растерянным. Он вошёл в дом с воющим белугой и отчаянно вырывающимся Лёней на руках. Мальчик трясся всем телом, захлёбывался в рыданиях и судорожно хватал воздух с хрипящим звуком, что явно говорило о давно продолжающейся истерике. У Серафимы Ивановны выпал таз с чистым бельём, которое она как раз несла во двор развешивать. Она кинулась к Волку, выхватила Лёню, чисто материнским, инстинктивным движением прижала к себе.

– Тихо, тихо, мой хороший. Успокойся, не надо, нельзя тебе плакать. Что случилось? – рявкнула она на зятя тем самым голосом, которого до смерти боялись и её пациенты, и её коллеги.

– Олеся сказала, что он плавать не умеет, – оправдывался Волк. – Что это за дело? Парню почти шесть, а он плавать не умеет? В Сочи живёт! Ну я и скинул его с буны.

– Идиот!

Никто в здравом уме не посмел бы назвать Виталия Волка идиотом. Но Серафима Ивановна была абсолютно искренна в своей оценке.

– Да всех детей так учат! – оправдывался Волк. – А как ещё? Захочет жить – выплывет. И я же рядом стоял, следил.

Теперь Серафиму Ивановну трясло не хуже, чем Лёню. Она прекрасно понимала последствия этого поступка. Да, её учили плавать именно так. И дочку Катю она когда-то сама сбросила с пирса много лет назад, а потом она много раз наблюдали похожие сцены на пляже, которые всегда начинались слезами, но заканчивались неизменно счастливо – воплями «Мама, ещё!» и «Смотри, я плаваю!» Но никогда ей и в голову не приходило обойтись подобным образом с заикающимся, тревожным Лёней.

Она напоила его домашним вином, которое сама настаивала из росшего во дворе винограда и дикой ежевики, уложила рядом с собой, хотя он давно уже спал отдельно, укутала в одеяло, баюкала, бормотала что-то успокаивающее. Но

даже ночью, во сне, он то и дело всхлипывал, вздрагивал, начинал барахтаться, и приходилось его прижимать к себе и снова укачивать.

Следующие три дня он почти не разговаривал, а если что-то говорил, то понять его не могла даже Серафима Ивановна. Но во всей этой жуткой истории был для Лёни и один хороший момент – его оставили в Сочи. Бабушка категорически отказалась отдавать внука «этому солдафону», и отец, ещё немного у них погостив, притихший и виноватый, уехал в Москву.

Как ни странно, воды Лёня бояться не начал. Весь ужас внезапного падения с буны в его сознании связался с отцом. Он по-прежнему с удовольствием ходил с бабушкой на пляж, а уже позже, в школе, научился плавать, во многом благодаря Борьке, причём научился не в море, а в заводи Змейковского водопада. Потом ещё и начал вслед за Борькой прыгать в эту заводь с каменных выступов.

А вот отец с тех пор прочно ассоциировался с опасностью. Он приезжал каждое лето, гостил у них дней десять. Пил с бабушкой разведённый спирт и долго с ней о чём-то беседовал. Каждый раз собирался забрать сына, но каждый раз находилась причина, почему нужно подождать ещё год – то Лёня был слишком маленький, потом он пошёл в школу, а кто будет в Москве с ним делать уроки? Вскоре у Лёни открылся музыкальный талант, и ему нужно было заниматься. Как-то все эти детские проблемы не вписывались в жизнь Виталия Волка, о многих обстоятельствах которой Лёня тогда не догадывался, да и не думал об этом. А бабушка была в них посвящена и все разговоры на тему возвращения в Москву обычно жёстко обрывала.

Тем не менее именно отец купил Лёне собственное пианино. Совершенно спонтанно: он, как всегда, сидел с бабушкой за столом, ужиная после проведённого с Лёней дня. Они гуляли по Сочи, были в дендрарии, а потом ели посыпанное орехами мороженое из алюминиевых вазочек и пили ситро в кафе на набережной. Вернувшись домой, Лёня уселся за ноты. Летом, когда музыкальная школа закрывалась на каникулы, он маялся от невозможности заниматься. Конечно, оставалось пианино у Карлинских, но каждый день приходить к ним играть он не мог, да и у Борьки всегда находилось к нему дело куда более интересное, чем просиживание штанов за инструментом. Этой весной Лёня упросил Илью Степановича дать ему переписать сборник нот для пятого класса. И теперь сидел над нотами, разбирая очередную пьесу. На что бабушка и обратила внимание старшего Волка.

– Не от мира сего растёт ребёнок, – тихо заметила она. – Посмотри, он сам себе играет, без пианино. Пальцами перебирает в воздухе и что-то там слышит. Это же ненормально.

– Ненормально, что у него нет инструмента, – возразил отец. – Говорите, хвалят его в школе?

– В музыкальной-то? Чуть не молятся на него, – усмехнулась бабушка. – Зато из обычной одни трояки да двойки носит. Да где мне взять его, инструмент, Виталик? Дефицит, понимаешь? Не до роялей сейчас советскому государству.

А на следующий день в их доме появилось пианино. Чёрное, как у Борьки, но, конечно, не «Бехштейн», а «Красный Октябрь», с куда более скромным, но вполне приличным звучанием. Пианино было не новое, на крышке виднелись потёртости, а вторую педаль чья-то неумелая нога слегка погнула. Оно заняло половину комнаты, так что стол, за которым обедали, пришлось вынести во двор. Но Лёня был готов и обедать, и делать уроки хоть на полу, главное, что у него теперь есть собственный инструмент!

В тот же вечер отец смог оценить музыкальный талант сына – Лёня без остановки играл всё, что знал. Не для того, чтобы похвастаться перед родителем, нет, ему просто хотелось как можно скорее услышать, как будет звучать уже выученное на его собственном пианино.

* * *

Из дневника Бориса Карлинского:

Ни черта я не понял, честно говоря. Лёнька заикался на каждом слоге, махал руками, хватался за сердце и не мог ничего объяснить. Выглядел он ужасно: заляпанная высохшей кровью рубашка, безумные глаза, морда какая-то помятая, да ещё и размалёванная. Прямо с концерта он к этой бабе поехал, что ли? К чему такая спешка, что даже не умылся? Так трахаться захотелось? Ну так нам вроде не по двадцать уже.

Вся эта обстановка – окно зарешёченное, казённое и явно не первой свежести одеяло, узкая койка и единственный облезлый стул – производили гнетущее впечатление. Ещё хорошо, что его в больничке разместили, представляю, что с ним в обычной камере было бы. Но в любом случае нужно вытаскивать его, под залог или ещё как, пока он окончательно с катушек не съехал или до приступа себя не довёл.

– Лёня, ты только не нервничай, – убеждал я друга, заставляя смотреть в глаза. – Ты нитроглицерин принимал? Пульс у тебя какой? Дай мне руку.

В полутёмной комнате я еле рассмотрел циферблат своих часов, но и без них было понятно, что пульс у Лёньки частит. Ну ещё бы!.. Сунул ему таблетку посильнее, из стабилизирующих.

– Лёня, слушай меня внимательно! Я сейчас Михалычу позвоню, ты же помнишь Михалыча? Ну ты ещё у него пел на юбилее в бане.

– Я не-не-не…

– Да ладно, рассказывай! Пел как миленький, весь свой нетленный репертуар исполнил. И на бис ещё пару песен Кигеля выдал, с подражанием мимике, так что все уписались. Не помнишь? Не важно! В общем, я позвоню Михалычу, он же большая шишка в МВД, что-нибудь придумает. А нет, так кого другого найду. Да хоть вот Мирону позвоню! Точно, лучше Мирону, он сразу тебя вытащит. Он лучший адвокат по уголовке в Москве. Ты только успокойся, Лёня. Ничего не подписывай и не рассказывай!

– Я не-не-не…

Лёнька обречённо махнул рукой и закатил глаза. Я сел на телефон и начал звонить всем, кто мог хоть как-то помочь. Знакомых у меня не меньше, чем у Лёньки. Его песни, может, и не каждый любит, а вот дружба с хорошим кардиологом никогда лишней не бывает.

Больше всего меня пугала не история с убитой девчонкой и странное участие Лёни в этом деле. Я был уверен, что это недоразумение, роковое стечение обстоятельств. Страшнее всего было то, что он опять начал заикаться да ещё так сильно. Вот это действительно конец – и его карьеры, и его жизни. Слишком

многое завязано на способности Леонида Витальевича внятно произносить слова и выдавать соловьиные трели, от которых млеют все существа женского пола любого возраста и в любом городе.

В детстве я никак не мог понять, почему Лёньку не вылечат. Мне это казалось таким простым и естественным: если человек болеет, его лечат и он выздоравливает. Стоило мне чихнуть, как мама тут же притаскивала домой доктора или, наоборот, тащила меня в поликлинику. А в классе у нас был один хромой пацан, он как-то неудачно из окна выпрыгнул со второго этажа, его мать наказала, гулять не выпускала, ну вот он и решил сбежать. Кость неправильно срослась, одна нога стала немного короче другой, и он хромал. Так он постоянно то в одном санатории лечился, то в другом, а в старших классах вообще уехал в Курган, к какому-то чудо-доктору, который умел ноги удлинять. И мы всем классом его туда собирали, и деньгами скидывались, и провожать на вокзал ходили, и потом письма ему писали.

А Лёнька существовал словно сам по себе, зацикленный на своей музыке, нотах и пьесах, которые он постоянно зубрил. Казалось, Серафиму Ивановну совершенно не беспокоит, что Лёня не говорит, а поёт. Да и Лёню не беспокоило, он смирился, привык, научился пропевать фразы, когда ему было надо, а в остальных случаях просто молчал. Уже позже я узнал, что Серафима Ивановна несколько раз показывала Лёню каким-то заезжим профессорам, а дома поила успокаивающими и жутко горькими травяными отварами, только ничто не помогало. Профессора советовали читать вслух и делать дыхательную гимнастику, но всё это было как мёртвому припарки. Ничего эффективнее совета раненого солдата, который научил Лёньку пропевать слова, никто не придумал. Это мне потом сам Лёнька рассказал, уже взрослым, кажется, по пьяной лавочке. А в детстве он тщательно скрывал такие подробности и даже никогда не говорил, с чего вдруг начал заикаться. Я вообще считал, дурень, что он таким родился.

Мы крепко сдружились классе в пятом. Моя прежняя компания начала потихоньку разваливаться: уехал в Москву вместе с родителями Колька, Игоря перевели в другую школу после того, как в нашей его пригрозили оставить на второй год, а Вано вдруг решил, что курить за гаражами ему больше неинтересно, потому что он собирается в комсомол. Мы его, конечно, побили страшно, но он ещё сильнее в комсомол захотел. Словом, как-то так получилось, что ближайшим товарищем мне стал Лёнька. Он пересел ко мне за парту, как раз на место уехавшего Кольки, и у нас образовалась потрясающая смычка:

я всегда любил историю, географию, литературу, а вот в точных науках не понимал ни черта, а Лёньке, наоборот, легко давались математика и физика. Правда, он никогда не готовился, не делал домашние задания, но в классе мог с лёту вникнуть в тему и решить все примеры и своего, и моего варианта. К тому же он хорошо рисовал, в отличие от меня, не способного даже прямую линию провести, и здорово помогал мне с черчением в старших классах. Я же писал за двоих сочинения и контрольные по устным предметам. «На двоих вы пятёрку заслужили, – подшучивали иногда учителя. – Делите как хотите». В целом к нам относились с симпатией: я, не скрою, всегда был парнем обаятельным, душой компании, а Лёньку жалели. Учителям он представлялся таким несчастным забитым мальчиком, почти что сиротой, вечно погруженным в свои ноты.

Но впечатление это было обманчивым. Музыка музыкой, а пошкодить Лёнька тоже был не дурак. Очень нам с Лёнькой нравилось в кино ходить, особенно вместо уроков. В Сочи тогда работал кинотеатр «Смена», на входе в который стояла очень суровая билетёрша тётя Маруся. Не знаю почему, но её звали именно Марусей, а не Машей или Марией. Тётя Маруся носила толстенные очки с двойными стёклами и старомодное платье с кружевным воротником и длинными рукавами, которое не меняла, кажется, даже летом. Прошмыгнуть мимо неё без билета было невозможно, а денег нам всегда не хватало. Мне выдавали карманные, но если на них взять два билета в кино, то уже не оставалось на мороженое и газировку. А кино без мороженого и газировки – уже не кино! И мы нашли замечательный способ заработка – толклись у гастронома в ожидании, что «выкинут» какой-нибудь дефицит. И когда дефицит «выкидывали», мы договаривались с какой-нибудь бабулечкой в очереди, что купим лишнюю палку колбасы или пакет муки (дефицит выдавали нормированно, например, не больше килограмма в одни руки), а потом бабулечка у нас товар заберёт. За труды мы получали рубль сверху, и тогда уж пировали! Как нас не поймали, сам удивляюсь, ведь это была спекуляция чистой воды. Но в Сочи всегда проще смотрели на такие вещи, а уж на детей и подавно никто внимания не обращал.

Но чаще всего мы сбега?ли на море. Купаться начинали с апреля, и если простужались, то всячески отрицали дома факт купания. Зато уже в июне считалось особым шиком в компании приезжих с пренебрежением сказать: «Море? Ой, да надоело это море!» Как мы только не старались разнообразить пляжный отдых, какие только игры не изобретали! Прыгали с бун: с разбега, «солдатиком» или «бомбочкой», поднимая столпы брызг. Буны зарастали склизким мхом, так что даже ходить по ним с непривычки было сложно, не то что бегать, но мы как-то умудрялись. Плавали наперегонки, кувыркались в воде, ходили по дну на руках, болтая ногами в воздухе. Ныряли за рапанами и

мидиями, а потом жарили их на костре, и, казалось, не существовало на свете ничего вкуснее. Лёнька однажды здорово рассёк ногу об острую ракушку, но бабушке его мы ничего не сказали, иначе она бы сразу поняла, чем мы занимаемся вместо школы. Лёнька сам обрабатывал рану спиртом из запасов Серафимы Ивановны и старался при ней не хромать. В общем, он превращался в нормального, своего парня. Только что заикался.

Курили, конечно. Тогда, после войны, почти все мальчишки курили. Собирали бычки, раздербанивали их, вытряхивали остатки табака, сушили, заворачивали в папиросную бумагу и курили. На углу улицы Горького был удивительный табачный магазинчик, в котором стены и мебель неизвестный мастер расписал под хохлому. Нам, мальчишкам, сигареты не продавали, да у нас и денег на них лишних не водилось, но, если долго вертеться у входа, можно дождаться какого-нибудь сердобольного дядечку, который откликнется на слезливую просьбу «угостить папироской». С другой стороны, можно было от такого же дядечки и по шее получить, это уж как повезёт.

А в аптеке напротив продавались мятные таблетки. От кашля, кажется. Стоили какие-то копейки, и мы их скупали и жрали как конфеты. В аптеке стояли огромные чёрные диваны, обитые кожей, и Лёнька, от которого всё равно толку не было в общении с продавцами, всегда садился на один из этих диванов, как король, и ждал, пока я отстою очередь и куплю мятные таблетки. Зато именно он добывал алкоголь. Говорю же, странное мы были поколение. Вроде ещё пацаны пацанами, самолётики мастерили и крышки от лимонадных бутылок на рельсы перед проходящим поездом подкладывали, чтобы раскатал их в монетки для коллекции. И одновременно интересны нам были вполне взрослые удовольствия.

Вино в Сочи делали чуть ли не в каждом доме: у всех во дворах виноградники. И налить ребёнку стакан вина считалось абсолютно нормальным. Но вино, к тому же отмеренное родителями, нас скоро перестало удовлетворять. У Серафимы Ивановны в доме всегда хранился спирт – исключительно для медицинских целей. Сама она могла выпить рюмку только в компании, по большим праздникам или по случаю гостей. Но спирт в кухонном шкафчике у них не переводился, его бабушка Сима считала лучшим лекарством от половины существующих болезней. И Лёнька время от времени отливал из пол-литровой бутылочки. Мы разводили спирт водой и, как взрослые, пили, закусывая чёрным хлебом из булочной и уворованным с чьего-нибудь огорода помидором или огурцом. Потом нужно было обязательно добыть мятных таблеток и успеть

незаметно почистить зубы, чтобы родители не почувствовали запах. Я пару раз так попадался, и мать нещадно охаживала меня ремнём. А Лёньке всегда везло. Возможно потому, что все наши попойки мы всегда подгадывали под дежурство бабушки Симы, а с дежурства она приходила еле живая, не обращая ни на кого внимания, ложилась спать, и раньше следующего утра к ней подходить не стоило.

Выпив, Лёнька расслаблялся, даже заикаться начинал как будто меньше. Становился весёлым, раскрепощённым, улыбчивым. Таким, каким, наверное, мог бы быть, не пролети тогда над ним тот чёртов «юнкерс». И таким, каким он стал потом, каким узнала публика певца Леонида Волка.

Но алкоголем мы особо не увлекались, покушения на запасы бабушки Симы осуществляли исключительно по поводам как радостным, так и печальным. Хорошо помню, как мы надрались, когда вся эта история с Катькой приключилась.

О Катьке я слышал от него чаще, чем хотелось бы. Судя по его рассказам, других детей в музыкальной школе словно не существовало, зато Катька была первой во всём: и в сольфеджио («Бо-оря, у неё идеа-альный слух», как будто у него самого не идеальный, тоже мне, повод для восхищения!), и в хоре она лучше всех пела («Го-олосок сло-овно коло-окольчик», хотя запевалой все равно поставили Лёню, а не «колокольчик»). И даже инструментом неведомая мне Катька владела в совершенстве. К счастью, играла она на скрипке, а то бы мой друг ещё решил, что и пианист он средненький, по сравнению с великой Катериной, светочем сочинской музыкалки.

Через некоторое время мне так надоели его рассказы, что я решил взглянуть на предмет воздыханий Лёни своими глазами. Пришёл во двор музыкальной школы к часу окончания занятий, сел на лавочку, достал перочинный ножик, стругаю палочку, вроде как делом человек занят, а сам жду. От Лёни я уже знал, что он регулярно провожает Катю до дома, таская за неё футляр со скрипкой. И вот они появились, и я чуть ножик не выронил. Светоч, блин! Прекрасная муза моего вдохновлённого пианиста! Она была раза в три шире Лёньки и выше на полголовы. Косая сажень в плечах, из тех самых, которые в горящую избу войдут. Это не Лёнька её скрипку должен был носить, это она могла с лёгкостью допинать Лёнькино пианино до школы и обратно. Но хуже всего было другое: она ни малейшего внимания не обращала на тщедушного кавалера, семенившего за ней по пятам со скрипкой. Не стесняясь его присутствия, она

оживлённо болтала с Арменом, парнем из шестнадцатого дома, я его знал, пересекались иногда. И если я хоть что-нибудь понимал в девчонках, интерес к Армену у неё был вполне определённый.

С лавочки я тогда быстренько снялся, пока меня не заметили, и Лёньке ничего говорить не стал. Он снова и снова рассказывал, как Катя гениально сыграла очередной этюд, а я каждый раз мрачнел и старался перевести разговор на другую тему. Например, пытался объяснить, что вокруг полно симпатичных девчонок, вот Маринка недавно на нашу улицу переехала, рыжеволосая красавица. Или Дашка из пятого дома. Да полно же вариантов! А отдыхающих каждое лето сколько приезжает! И к местным парням они более чем лояльны. Но Лёньку не интересовали девчонки «вообще», он их сторонился, как сторонился посторонних людей, не осведомлённых об особенностях его речи. Ему почему-то нужна была эта толстозадая дура.

И когда всё наконец разрешилось, Лёнька пришёл ко мне совершенно убитый – морально, хотя из разбитого носа у него капала кровь, а на руках были сбиты костяшки. Первым делом я поинтересовался, кому идти чистить морду. Драться мой друг умел, а руки пианиста – оружие страшное, скажу я вам. Но его нужно было довести до кондиции, чтобы он начал их распускать, чаще всего Лёня избегал конфликта. Судя же по разбитому носу, в этот раз столкновения избежать не удалось и явно требовался реванш. Но Лёня покачал головой и, гундося, заикаясь на каждом слове, сообщил:

– Она не хо-хохо-очет со мно-ой встре-ечаться.

Я не знал, смеяться мне или плакать. У меня к тому времени уже была девушка, даже не одна, я активно набирался мужского опыта, особенно летом за счёт отдыхающих. Причём, как правило, девушки оказывались старше меня, но никому сей факт не мешал. А Лёнька, стало быть, наконец-то решил перейти от созерцания прекрасной Кэт к конфетно-букетному периоду. И получил от ворот поворот.

Но смеяться мне быстро перехотелось, слишком уж несчастный был вид у моего друга. К тому же он заявил, что бросит музыкалку.

– А смы-ысл, Бо-орь?

Да, действительно, какой уж тут смысл, если учесть, что он заканчивал седьмой, последний, класс музыкальной школы и все преподаватели в один голос твердили, что ему нужно учиться дальше.

– Я-а и-игра-аю лу-учше все-ех, я за-апевала, а ей ну-ужен этот ба-а-арабанщик!

Вот тут я понял, что надо действовать решительно.

– У тебя бабушка сегодня дома?

– На-а де-ежурстве.

– Отлично! Тогда дуй домой за спиртом. Встречаемся на нашем старом месте.

Старым местом называлась бамбуковая роща на холме позади школы. Бамбуковые заросли образовывали нечто вроде укрытия. Случайно обнаружив рощу, в детстве мы часто играли там в войну, а став постарше, использовали для запрещённых удовольствий. В тот день напились мы с горя отменно, причём Лёньку сначала не брало, он снова и снова рассказывал мне о коварстве возлюбленной, а потом разом опьянел, да так, что пришлось волочь его на море, хотя уже был октябрь, и макать в воду, чтобы хоть как-то привести в чувство.

Как порой в жизни всё меняется! Тогда я, «умудрённый опытом», хоть и жалел менее удачливого друга, но чувствовал некоторое превосходство. А потом худощавый и замкнутый Лёнька превратился в красавца Волка и женщины чуть не сами прыгали к нему в койку. А мне, толстяку Карлинскому, вечно доставались… Эх, ладно, не будем о грустном.

* * *

Так как в музыкальную школу Лёня попал в середине учебного года, ему пришлось догонять остальных. Со специальностью проблем не возникло, с Ильёй Степановичем они за несколько месяцев освоили программу первого класса и взялись за второй, а вот сольфеджио и музыкальную литературу нужно было как-то подтягивать. Попросить преподавателя, суровую Нину Константиновну, которая вела оба эти предмета, об индивидуальных занятиях стеснительный Лёня даже не догадался. А Нина Константиновна, ещё не подозревавшая, какой

талант попал в её распоряжение, педагогической чуткости не проявила. Это потом она чуть не молилась на маленького Волка вслед за Ильей Степановичем, а поначалу Лёне приходилось туго. Одноклассников он сторонился, стараясь лишний раз не открывать рот, чтобы не вызывать насмешки. Приходилось самому разбираться в ладах, четвертях и тактах, потоке новых слов и понятий, причудливых закорючках на нотном стане. И тогда на новенького мальчика обратила внимание Катя.

Словно добрый ангел, она появилась возле его парты, которую он ни с кем не делил. Сначала Лёня увидел кончик толстой косы с белой ленточкой на конце, который упал ему на тетрадку. И только потом, подняв голову, встретился с карими глазами и пухлыми щеками, слегка розоватыми от смелости их обладательницы.

– Тебе помочь? Тебя ведь Лёня зовут, да?

– Да-а.

Он суетливо подвинулся, уронив сразу и тетрадку, и перо, и чуть было не перевернув чернильницу. Для Лёни вообще потрясением был тот факт, что в музыкальной школе девочки учатся вместе с мальчиками в отличие от мужской гимназии, которую он посещал.

Оказалось, что Катя – отличница и всегда берёт шефство над отстающими, она сообщила это Лёне в первую же минуту общения. И рьяно взялась подтягивать новичка. Они занимались на переменах и после уроков, потом Лёня неизменно провожал её до дома, таская заодно футляр со скрипкой. Подтянулся он быстро, если говорить честно, ему хватило двух-трёх занятий. Но очень не хотелось признаваться в этом Кате, и он ещё недели две обращался к ней то с одним, то с другим вопросом. Потом уже стало ясно, что Волк – новый отличник, Нина Константиновна начала его хвалить и ставить в пример. Если класс должен был хором назвать сыгранные преподавателем ноты, один ряд оборачивался на Катю, а второй на Лёню. Музыкальные диктанты списывали у них же. Лёня по-прежнему таскал Катину скрипку и отчаянно ревновал к Армену. Дураку Армену, играющему на дурацких барабанах («Что там игра-ать-то, сту-учи себе и стучи, тоже мне, инстру-умент!»), к тому же плохо играющему. Но Армен сидел с Катей за одной партой, причем задолго до появления в классе Волка. Это, по мнению Лёни, было единственным препятствием их дружбе. Вот если бы не Армен, Лёня бы пересел к Кате. Катя к нему на «камчатку» пересесть не могла, потому что

плохо видела и носила очки.

Из-за отдалённости парт, опять же по мнению Лёни, их общение было редким и мимолётным:

– Волк, ты домашку делал? Дай списать!

– Волк, у тебя гармония получилась? Дай посмотреть!

– Волк, закинешь скрипку домой? Я хочу с девчонками в «Смену» пойти, лень крюк делать.

И Лёня давал списать, делал второй вариант гармонии, тащил скрипку Кате домой, где, стесняясь, отдавал её Катиной бабушке, пока сама обладательница инструмента развлекалась в кино. И упорно не замечал, что в кино она пошла не с подружками, а с Арменом.

Словом, все эти детские страсти начались в первом классе музыкалки и продолжались до седьмого, когда и произошло роковое объяснение.

Школа дружно готовилась к праздничному концерту ко Дню Великой Октябрьской революции. На Лёне, как на самом одарённом выпускнике, держалась чуть ли не половина программы – он аккомпанировал хору, играл фугу Баха из «Хорошо темперированного клавира» и ещё два этюда по мелочи. Репетиции шли ежедневно, занимая всё свободное время, но Лёня этому обстоятельству только радовался, так как Катя тоже репетировала: в концерте она исполняла отрывок из «Испанской симфонии» Лало, причём сильно фальшивила в финале. Но её преподавательница фальши почему-то не замечала, а Лёня мучился, разрываемый противоречием: любовью к чистому звуку и любовью к Катьке, этот звук из скрипки извлекающей. Когда во время генерального прогона она снова смазала концовку, он не выдержал и после репетиции подошёл к ней.

– По-ослушай, у те-ебя во-от тут неточно. – Лёня заглянул в ноты, которые Катька держала в руках. – Ви-идишь, тут соль ди-иез, а ты игра-аешь…

– А ты что, в скрипачи заделался? – вскинулась Катька, краснея, то ли от возмущения, то ли потому, что Ленька был прав. – Я же тебя не учу на пианино бряцать.

– Да-а не-ет, я про-осто слы-ышу, – опешил Лёня, не ожидавший такого отпора.

– Ты достал уже, зануда! Слышит он! Тоже мне, великий музыкант Большого Сочи! Только с тобой все и носятся, Волк то, Волк сё. Сиди вон за своим пианино и не лезь, куда не просят.

Катя прекрасно знала, что у неё неверная концовка, но правильный пассаж у неё не получался технически, и она играла, как выходит, надеясь, что никто не заметит вольной трактовки Лало. Преподавательница, древняя старушка, ветеран школы, чуть ли с не дореволюционных времён учившая детей музыке, была уже глуховата и подслеповата, дорабатывала последний год и не требовала слишком многого от учеников.

Лёня хотел что-то сказать в своё оправдание, но тут очень некстати в зале появился Армен. К тому времени его давно уже отчислили из музыкалки за неуспеваемость и теперь он приходил просто так, в гости, к немалому раздражению Лёни.

– Какие-то проблемы, Кэт? – небрежно поинтересовался он, подходя поближе.

– Никаких, – фыркнула девушка.

– Ты уверена? – Армен фривольно положил руки на талию Кати, с интересом разглядывая Лёню, будто впервые увидел.

– Ру-уки убе-ери, – прошипел возмущённый до глубины души этим наглым собственническим жестом Лёня. – Не-емедленно!

– А то что? – усмехнулся Армен. – Слушай, задохлик, шёл бы ты отсюда. Я давно жду повода тебе морду набить. Что ты всё возле Катьки ошиваешься?

– Я оши-иваюсь? Это ты оши-иваешься! Ру-уки убе-ери!

Кто кого первым толкнул, никто бы не разобрался. Взвизгнула Катька, заревел Армен, на шум подбежали ребята, уже расходившиеся после репетиции. Они даже не сразу поняли, кто сцепился, а растащив, обалдели – Лёня, тихоня Волк, против бугая Армена? Причём потери значились с обеих сторон: у Лёньки шла кровь из носа, были разбиты костяшки пальцев, а у Армена заплывал глаз.

– Я тебя закопаю, слышишь, заика? – бушевал Армен, вырываясь из рук ребят.

Лёнька молча шмыгал носом, из которого тоже капала кровь, и тяжело дышал.

– Тихо, тихо, – вмешался Женька Курочкин, дерьмовый флейтист, но видный комсомолец. – Никто никого закапывать не будет. Совсем с ума посходили? Лёня, не ожидал от тебя. Ты же пианист, посмотри на свои руки!

Но Лёня смотрел только на Катьку, которая уже отдала Армену свой платок и в упор не замечала его ранений.

– Чего вы не поделили? Ну? Лёня? Армен? Ты что вообще тут делаешь?

– Он за мной пришёл, – подала голос Катька. – А заика на него набросился.

Ребята засмеялись, слишком уж неправдоподобно звучало это, в общем-то, недалёкое от истины объяснение.

– Ладно, всё, расходитесь, – махнул рукой Курочкин. – Выясняйте отношения за пределами школы, пожалуйста! Лёня! Береги руки, через два дня концерт!

– Да-а по-ошли вы со сво-оим ко-онцертом! – прошипел Лёня, вырвался из объятий все ещё державшего его пацана и вылетел из репетиционного зала.

– И не ходи за мной, заика! – уже в спину ему крикнула Катька. – Надоел хуже горькой редьки!

После этого была легендарная попойка с Борей в бамбуковых зарослях, с последующим купанием в ледяном море и блаженное забытьё на старом топчане у печки.

Лёнька проспал школу и провалялся до обеда, пока со смены не пришла Серафима Ивановна.

– Ты чего дома? – с порога поинтересовалась она, окидывая внука цепким взглядом.

– У нас се-егодня че-етыре уро-ока то-олько, – не моргнув глазом, соврал Лёня.

– А с руками что?

Бабушка полоскалась в умывальнике и переодевалась в домашнее, не прекращая допрос.

– Да та-ак, упа-ал неуда-ачно.

– Удачнее надо падать, – припечатала Серафима Ивановна с некоторым одобрением в голосе. – А к носу надо было лёд приложить или просто холодную тряпку. Так синяк будет неделю сходить.

Лёнька про себя чертыхнулся. Торопясь к приходу бабушки привести в порядок постель и распотрошить портфель, создавая видимость посещения школы, он совсем забыл посмотреться в зеркало.

Он надеялся, что бабушка сразу ляжет спать после дежурства, но она затеяла ставить тесто.

– Капуста пропадает, пирожки хочу сделать, – пояснила она. – Если нечем заняться, иди вон капусту шинкуй.

Лёня взялся за капусту. Помогать по хозяйству ему нравилось, особенно когда дело касалось готовки. Он с удовольствием мог и картошки начистить, и даже нажарить, если бабушка уходила на сутки.

Лёня увлечённо шинковал капусту большим, остро заточенным тесаком, концентрируясь только на том, чтобы не попасть по пальцу. Вот отличное занятие. И, главное, можно молчать.

– А, кстати, тебе разве на репетицию не надо? – вдруг спохватилась бабушка, накрывая таз с тестом чистым полотенцем.

– Не-е на-адо, – буркнул Лёня.

– У вас же вроде концерт на днях?

– Бе-ез ме-еня обойду-утся.

– Так!

Бабушка решительно отставила таз, вытерла руки о передник и села напротив Лёни.

– Рассказывай!

Но ничего рассказывать он не хотел. Уж тем более не собирался посвящать бабушку в перипетии своих отношений с Катькой. Если они вообще были, эти отношения. Сейчас ему казалось, что он всё выдумал – и дружбу, и её внимание. Как она там сказала? Зануда, задохлик и заика? Однако бабушка ждала ответа.

– Я бро-ошу му-узыкалку.

– Причина?

– Не хо-очу бо-ольше. Надое-ело.

Бабушка задумчиво на него посмотрела, дотянулась до папирос, лежавших на краю стола, закурила. Она курила со времён войны, принципиально «Беломор», ничуть не стесняясь ребёнка.

– Понимаешь, в чём дело, Лёня, – спокойно проговорила она. – Ты ведь не просто способный к музыке. У тебя талант. И поэтому бросить ты не можешь.

– Мо-огу. О-очень да-аже про-осто.

– Не можешь. Видела я твоего Илью Степановича на той неделе, на улице встретились. И он давай мне рассказывать, какой дар тебе дан свыше и как это замечательно. Так вот, дурак твой Илья Степанович. Сам дурак и тебе эту дурь передаёт. Талант – это никакой не дар, Лёня. Талант – это кредит, который человек, его получивший, потом всю жизнь отдаёт с процентами. Тебе вот нравится готовить, да?

Лёня кивнул.

– Но ты можешь этого и не делать. Если я тебя не попрошу, ты не будешь готовить, вовсе забудешь про это занятие. А не играть ты не сможешь, потому что к музыке у тебя талант, а не способность. Не ходи в школу, если не хочешь. Но тогда и к инструменту не подходи. И пианино давай продадим. Потому что если ты не доучишься, то это не игра, а халтура получается. Представь, что я бы не доучилась в мединституте и пошла бы людей оперировать. Допустил бы кто такое? Нет. Так что не хочешь – не учись. Но чтобы за пианино я тебя тогда не видела.

Лёня только плечами пожал. У него не было ни малейшего желания садиться за инструмент. Он вообще видеть не хотел ни пианино, ни ноты, ни двери музыкальной школы. К тому же и разбитые руки саднили.

Вечер того дня запомнился ему особенно хорошо. В доме пахло капустными пирожками. Бабушка уже спала в своём закутке, а Лёнька слонялся по комнате, не зная чем себя занять. На улице шёл дождь, типичный сочинский осенний дождь, от которого невозможно укрыться под зонтиком, и даже резиновые сапоги до колен не помогут. Можно только пересидеть его дома, желательно привалившись к печке. Вроде бы и не холодно, но промозгло, сырость пробирает до костей, и если дождь идёт не первый день, а неделю, хочется удавиться от тоски. Лёня сгрыз два пирожка, хотя был сыт. Попробовал читать, но даже любимые «Мушкетёры» не полезли. Включил телевизор, но в дождь и без того слабый сигнал телеантенны постоянно пропадал, и кроме помех он ничего не увидел. В конце концов он всё-таки сел за пианино. Крышку открывать не стал, достал чистую тетрадку и от скуки начал по памяти расписывать партитуру популярной песенки «Бэсаме мучо», которую они слушали у Борьки дома на патефоне. Борька с недавних пор свёл какое-то секретное знакомство, благодаря которому ему удавалось находить совершенно уникальные «заморские» пластинки. Пластинки эти попадали к Борьке на время, с возвратом, поэтому он слёзно просил Лёньку разложить «классную мелодию» на

ноты. Лёньке, замотанному концертом, было как-то недосуг, а теперь вот появилось время. Хорошо было бы, конечно, снимать по слуху, но не бежать же сейчас, под дождём и на ночь глядя, к Борьке. Да он и отдал уже, наверное, пластинку.

В одном месте Лёнька засомневался, открыл крышку пианино, начал подбирать. Бабушку он разбудить не боялся, если та заснула, можно было не то что на пианино, на трёх тромбонах играть, она не проснётся.

– Ты что такое играешь?

Лёнька вздрогнул, обернулся. Олеся по-соседски приходила к ним не стучась, а двери у них никогда и не запирались.

– Да-а во-от, Бо-орька про-осил пе-есенку подообрать.

Он сыграл с самого начала, подпевая себе. Из слов он знал только рефрен «Бэсаме, бэсаме мучо», поэтому остальное заменил на «ля-ля-ля», но Олеся пришла в восторг.

– Здорово, Лёня! Это же здорово! А ты можешь послезавтра в клубе на танцах её сыграть? Все в шоке будут!

Пока что в шоке был Лёня. Он знал, что Олеся бегает в клуб на танцы в надежде встретить, как она говорила, «женское счастье». Что под ним подразумевалось, Лёня не понимал, но в клуб пару раз просился. Олеся всегда отказывалась брать его с собой с формулировкой «нос ещё не дорос». А теперь пожалуйста!

– А ты ещё что-нибудь такое знаешь? – не отставала Олеся. – Живенькое, модное?

Лёня пожал плечами.

– За-автра схо-ожу к Бо-орьке, по-оищем ещё.

В музыкалку он всё-таки вернулся. И концерт к седьмому ноября отыграл, упорно делая вид, что не замечает Катьки. И закончил последний класс, хотя и

без былого энтузиазма. Куда больше теперь его увлекала современная музыка, которую он неожиданно с помощью Бори для себя открыл. Успех на танцах в клубе у него был грандиозный – он раз десять сыграл «Бэсаме мучо» и раз двадцать «Во Стамбуле-Константинополе», ритмичную, зажигательную песенку в стиле рок-н-ролл, под которую бешено скакали взрослые парни и девушки, осыпая смущающегося, хмурого пианиста бесконечными комплиментами. Бабушка за всеми этими событиями наблюдала молча, но когда он принёс ей диплом об окончании музыкалки с бесконечными пятёрками и аттестат зрелости с бесконечными трояками, поинтересовалась:

– И что ты намереваешься делать дальше?

Лёня пожал плечами. Он уже присмотрел себе занятие – в одном из прибрежных кафе требовался тапёр, и его брали с огромным удовольствием. Но стоит ли говорить об этом бабушке, он пока не решил. А через несколько дней приехал отец.

* * *

Дверь лязгнула так громко, что задремавший Волк с его до сих пор чутким, несмотря на многолетний рёв сценических динамиков, слухом моментально открыл глаза.

– Выходите, Леонид Витальевич! – В проёме двери стоял следователь, допрашивавший его вчера. Или сегодня? День у Волка уже перепутался с ночью. – За вас внесли залог. Сейчас подпишете бумагу, что не станете выезжать из страны, пока идёт следствие. И можете быть пока свободны. Мы вас вызовем, когда потребуется.

Всё это произносилось на автомате. Отработанные казённые фразы отработанным казённым голосом. Ничего личного. Ну, конечно же, он никуда не уедет. И плевать, что у него через неделю начинаются гастроли в Израиле, пять концертов, планировали за полгода, билеты проданы, гонорар Волку выплачен, неустойка будет бешеная. И он может быть свободен. Пока. Они, конечно же, вызовут его, когда потребуется. И, надо полагать, ещё не один раз. Ладно, сейчас об этом не думать. Не думать, не думать, не думать ни о чём. Выбраться отсюда, остальное потом.

Леонид Витальевич медленно сел на кровати, медленно начал застёгивать рубашку.

– А рубашку оставьте, – спохватился следователь. – Оформим как вещественное доказательство.

Доказательство чего? Волк мысленно усмехнулся, но рубашку снял. Без проблем, поедет домой в майке. Народный артист России выезжает из Бутовского СИЗО в исподнем. Вполне себе нормальная картинка в духе родного отечества. А куда и на чём он, кстати, поедет? Борсетку так и не вернули. Там деньги, карточки. И не попросишь же теперь, да и не станет он просить. Ладно, телефон есть, как-нибудь объяснится с водителем. В конце концов, тому уже случалось забирать почти не говорящего шефа из неожиданных мест. Правда, тогда причиной речевых сложностей был исключительно алкоголь.

Но объясняться не пришлось. Едва Леонид Витальевич вышел из камеры, к нему кинулся Борька. Верный, родной Борька, который, похоже, отсюда и не уходил, дожидаясь окончания всех формальностей.

– Ну пошли, пошли, узник замка Иф. – Борька суетливо подхватил его под руку и поволок в направлении выхода. – Чёрт-те что в этой стране творится. Если уж даже Мирону целая ночь потребовалась, чтобы тебя вытащить, то что об остальных говорить!

Ага, значит, он провёл в СИЗО ночь. Ну да, на улице было светло. И холодно, всё же в сентябре по Москве в майке уже не походишь. Но Борька быстро запихнул его на заднее сиденье своего огромного несуразного внедорожника. Это сочетание Борьки и его машины всегда Волка веселило. Толстяк Карлинский, неповоротливый, коротконогий, из внедорожника не выходил и даже не вылезал, а выпрыгивал. Волк иногда в шутку предлагал ему лесенку с собой возить. И подушку под задницу класть, чтобы хоть нос из-за руля был виден, а то гаишники пугаются, думают, машина без водителя едет.

– Куда тебя везти? – осведомился Борька, врубая обогрев сидений. – Домой?

Леонид Витальевич представил собственную квартиру, свой выстраданный двухэтажный пентхаус в элитном доме на Берсеневской набережной с шикарным видом из окна спальни на храм Христа Спасителя. Представил

мягкую, широкую и идеально чистую кровать с десятком разнокалиберных подушек, которые так удобно подсовывать под затекающие части тела, и ванну с морской солью, увы, горячую уже нельзя, но хотя бы тёплую, в которой можно откисать хоть целый час. Он почти услышал лай любимого Маэстро, белоснежного той-пуделя, специалиста по всем вопросам, без устали засовывающего нос в любое дело, каким бы ни занялся хозяин. И уже хотел было кивнуть Боре, но в идиллическую картинку, выстроенную воображением, влез ещё один персонаж. И он отрицательно помотал головой.

– Тогда ко мне, – меланхолично согласился Боря. – И правильно. Поля вчера «Захер» сваяла! И нет, я не ругаюсь, хотя и сказал ей, захер тебе эта возня, если кондитерская через дорогу. Но ты же её знаешь! В кондитерской всё не так, и вместо масла маргарин кладут, и содой бисквит поднимают, ну и так далее. В общем, «Захер» тебе обязательно нужно попробовать. Тебя-то она обделять не станет, а мне только маленький кусочек дала. Я ж опять худею, я тебе говорил?

Борька болтал без умолку, старательно отвлекая друга от собственных мыслей. И ни слова, ни единого вопроса о произошедшем. Потом, всё потом.

До подмосковной резиденции Карлинских, как в шутку называл Волк выстроенный другом дом, добрались на удивление быстро. Ему всегда тут нравилось: до безобразия традиционный, без всяких архитектурных и дизайнерских изысков, но очень уютный особняк, большие прямоугольные комнаты, окна со ставнями, крыша с коньком и такая же классическая, простая и понятная мебель, в основном белорусского производства, из цельного дерева. Вокруг лес, огромные сосны, которые Борька с маниакальной одержимостью старался сохранить во время строительства, не дал срубить ни одной, экскаваторы и бетономешалки с матерящимися водителями лавировали между деревьями. Зато теперь, когда стройка закончилась, на подоконнике в кухне Карлинских то и дело появлялись белки, которым сердобольная Полина оставляла орехи, даже специальное блюдо под них выделила. А когда очередная беличья семья обзавелась потомством и на подоконник стал запрыгивать молодой бельчонок, Поля начала ещё и очищать орехи от скорлупы, чтобы малышу было легче с ними справляться.

Боря как раз в деталях описывал эту историю, подъезжая к дому.

– Внучка бы ей, – резюмировал он. – Чтобы на него всю эту нерастраченную нежность выливать. А то белки, собаки, кошки. Зоопарк какой-то! Я каждый раз,

когда дверь открываю, жду, что на меня новый хвостатый жилец свалится, и только надеюсь, что он не окажется змеёй или ящерицей какой-нибудь.

Волк устало улыбнулся, несмотря на полный разлад в душе. Умел всё-таки Борька поднять настроение в любой ситуации. И сейчас даже хорошо, что можно ничего не говорить. Тема внучков для Карлинских самая болезненная: – единственную дочку, их долгожданного позднего ребёнка, красавицу Мишельку они несколько лет назад выдали замуж, как все еврейские родители, ожидая немедленного продолжения рода. Но Мишель никуда не торопилась, занималась в своё удовольствие фотографией, проводила выставки, колесила по всему миру вместе с мужем-художником и совершенно не понимала переживаний старомодных «предков». Её-то время не поджимало, в отличие от Бориса, который всё же надеялся не только увидеть, но и понянчить внука до того, как нянчить придётся уже его самого.

Едва Борька открыл ворота, как поднялся оглушительный многоголосый собачий лай, а стоило Волку вылезти из машины, на него тут же кинулись два пса, огромный рыжий и мелкий, но брехливый чёрный. Кинулись исключительно для того, чтобы облизать и украсить его брюки разномастной шерстью.

– Ну наконец-то! – Из окна уже высовывалась Полина, миниатюрная, всегда приветливо улыбающаяся, неопределяемого возраста женщина, которую Волк любил как родную сестру. Впрочем, больше, чем сестру. Отношения с Ликой даже сравнить нельзя было с той нежностью, которую он испытывал к Поле. – Почему так долго, Боря? Почему ты не позвонил, что вы выезжаете? Лёня, ты почему раздетый? Немедленно заходи в дом, я найду тебе халат.

Она умудрялась беспокоиться обо всём сразу, задавая десять вопросов в минуту и не требуя на них ответа. Стоило Волку переступить порог дома, как Поля развила вокруг него бурную деятельность: вот Борин халат, надевай, а то простудишься, а у тебя голос; ты наверняка хочешь помыться после этого ужасного изолятора, чистое полотенце на третьей полочке в шкафчике слева, нет, погоди, я сама тебе дам; не наступи на хвост Матильде и вообще держись от неё подальше, она позавчера родила, чудные котята, три сереньких, один чёрненький, но теперь Матильда бросается даже на своих. И так далее и тому подобное. Пока Борис загонял машину в гараж, Поля успела закружить, заговорить Волка, довести его до ванной комнаты и нагрузить чистым бельём.

Закрыв за собой дверь ванной, Леонид Витальевич с наслаждением стянул грязную, пропитавшуюся потом одежду, сунул её в приветливо раскрытое жерло стиральной машинки и залез в душевую кабинку. Господи, какое счастье стоять под струями тёплой воды, смывая с себя весь ужас прошедших суток, а заодно остатки грима с лица и лака, с помощью которого Ленуся, верная его костюмерша, умудрялась превратить жидковатые и поседевшие волосы Волка в роскошную шевелюру, прядка к прядке, так что никто не замечал, что на затылке у него уже немаленькая залысина. Как говорит Борька, сам виноват, всю жизнь чужие подушки давил. Ну завидовать можно и молча. Не такая уж большая расплата, есть у него счета и посерьёзнее.

Он полоскался минут двадцать и простоял бы так ещё столько же, если бы дверь санузла не распахнулась и не появился невозмутимый бесцеремонный Борька. И мало того что у кабинки стенки прозрачные, так у этого поганца ещё и потолок в ванной зеркальный. Посвистывая себе под нос, Борька занял позицию перед унитазом и посмотрел через тот самый потолок на остолбеневшего Волка.

– Что ты жмёшься, чего я там не видел? – громко, чтобы было слышно, несмотря на шум воды, прокомментировал Борис. – Скорее стесняться должен я. И нечего так смотреть! Приспичило! А ты занял ванную, единоличник. Ты тут утонуть решил, что ли? Вылезай давай, долго париться тебе вредно.

Он спустил воду и, жизнерадостно посвистывая, стал мыть руки, поглядывая на потолок.

– Вылезай и пошли в мой кабинет. Я хочу тебя послушать, прежде чем Поля утащит нас обоих кормить, поить и жалеть от всей широты души. Не мотай башкой, плевал я на твои возражения. Я должен знать, в каком ты состоянии и что мне лечить: твоё многострадальное сердце или не менее многострадальное заикание.

– Е-его ты не вы-ылечишь, – пропел Волк, с каменным лицом вылезая из кабинки и нарочито спокойно вытираясь. – А ба-абы Та-аси на све-ете уже не-ет.

– Да брось ты, Лёня. Глупости это всё, суеверия. Самовнушение, если хочешь. У тебя рецидив на фоне стресса. Придёшь в себя и снова начнёшь заливаться соловьём, не только на сцене. Пошли в кабинет.

На дому доктор Карлинский никогда не принимал, кабинетом гордо именовалась комната, более похожая на библиотеку и никакого отношения к медицине не имевшая: дубовые шкафы с книгами вдоль стен, огромный письменный стол и удобное Борькино кресло с кожаной обивкой. Здесь Борька спасался, когда его начинало утомлять общество супруги, с книгой или ноутбуком. Кабинет, по негласному правилу, был единственной комнатой, куда Поля не заходила без стука, признавая право мужа на уединение.

Но стетоскоп в столе доктора Карлинского имелся. И теперь с его помощью Борька обстоятельно выслушивал тоны сердца, несколько лет назад им же и спасённого. Это он тогда первым забил тревогу, заметив, что господин Волк, отплясав с собственным балетом финальный номер первого отделения, до начала второго пытается отдышаться, а за концерт меняет с десяток рубашек, потому что под жаркими осветительными лампами потеет, как мышь. Он проводил обследования, на которые затащил друга практически силой, он в итоге настоял на шунтировании, он же его и провёл, что было вопиющим нарушением всех норм врачебной этики: своих друзей и родственников врачи, и уж тем более хирурги, никогда не лечат. Но никому другому Лёня бы не дался да и Боря никому бы его не доверил, хотя как заведующий кардиологическим отделением знал каждого работавшего под его началом хирурга, и было из кого выбирать. И он же, заведующий, царь и бог кардиологии, потом трое суток не отходил от своего пациента, плюнув на все остальные обязанности, других больных и необходимость хотя бы иногда спать. Но Лёньку вытащил и был безмерно счастлив, когда полгода спустя сидел в первом ряду на очередном сольном концерте Волка и наблюдал, как тот снова пляшет с балетом, падает на колени перед партнёршей, с которой только что спел романс о вечной любви, а потом, это Борис видел уже за кулисами, ту же самую партнёршу недвусмысленно прижимает в антракте. В общем, всё обошлось благополучно. Вот только Натали Борис с тех пор очень не любил.

– В порядке ты. – Борька отложил стетоскоп и притворно-заботливо поправил полы халата на друге, за что тут же получил по рукам. – Идём жрать, симулянт.

Леонид Витальевич возмущённо фыркнул, но жрать пошёл. Да даже покойник не отказался бы от Полиных сырников!

* * *

Из дневника Бориса Карлинского:

Иногда мне кажется, что история с Катькой во многом определила его отношения с женщинами. Нет, я не психолог, упаси бог, и психологию сдал в институте с третьего раза, ибо терпеть не могу абстрактные науки. И я не верю, что всякие там детские травмы оставляют шрамы на всю жизнь. Но факт остаётся фактом. После крушения его первой и искренней любви, Лёнька плюнул на все амурные дела и с головой ушёл в музыку. Следующий раз я услышал от него о девушке уже в Москве. Он был по уши влюблён в Оксанку-сумасшедшую, впрочем, в те времена её звали просто Оксаной, без эпитетов. И то, что произошло между ними потом, кстати, тоже свой след в его душе оставило. Да, пожалуй, вот этим двум барышням можно сказать спасибо за появление настоящего Волка. И вину за некоторые сломанные судьбы можно смело разделить между Волком и ими. Не всё же ему одному расхлёбывать.

Но вернёмся к музыке. И если уж везде искать виноватых, то тут карающий меч пусть падёт на меня. Я, я отнял у страны великого пианиста. Мне стыдно, но я не нарочно! А началось всё с пластинок…

Проигрыватель купила мама специально для дедушки, который под старость стал совсем плохо видеть и почти не выходил из дома. Радио ему быстро надоедало, подозреваю, что его сильно раздражали бодрые «вести с полей», которыми постоянно разбавлялся эфир. Телевизор у нас тоже имелся, но с таким крошечным экраном, что дед ничего бы в нём не разглядел. И вот появился проигрыватель – небольшой коричневый чемоданчик с удобной ручкой, за которую его можно было переносить, и толстенным блинчиком вертушки, на которую устанавливалась пластинка. Пластинки мама тоже купила – две. Одна называлась «Ельничек да березничек» – сей шедевр исполнял Сибирский народный хор под аккомпанемент ансамбля баянистов, а вторая – «Уральская рябинушка», в исполнении уже Уральского русского народного хора. Подозреваю, что эти шедевры музыкального искусства маме вручили в нагрузку к проигрывателю. Во всяком случае дед, ознакомившись с её приобретениями, со свойственной ему прямолинейностью обозначил место, куда маме следует отправить проигрыватель, и демонстративно ушёл слушать радио. И чемоданчик достался мне.

Конечно, я тоже не был поклонником хорового пения про «ельничек». Но я-то знал, что на Торговой улице болтаются загадочного вида пацаны, у которых можно приобрести «рёбра» – самопальные пластинки с настоящей музыкой,

сделанные из рентгеновских снимков. Об этих «рёбрах» только и разговоров было на переменах. Вид они имели жуткий – на чёрном круге отчётливо проступали чьи-нибудь сломанные пальцы или тазобедренные суставы. Но кого бы это смущало! Счастливые обладатели проигрывателей ими обменивались, а потом делились впечатлениями. Особенно ценились итальянцы.

И не особо понимая зачем, просто из стремления быть не хуже одноклассников, я схватил за шкирку Лёньку, и мы помчались на Торговую. С деньгами мы, как всегда, испытывали трудности, что хотели купить, не знали, но я отлично запомнил наше состояние радостного возбуждения. Загадочного парня мы быстро отыскали, он стоял в явно большом ему пиджаке, привалившись спиной к платану, курил и лениво посматривал на проходивший по Торговой народ, выискивая клиента. На нас, сопляков, он и внимания не обратил, но я решительно подошёл к нему.

– Нам бы пластиночку, – заговорщицким шёпотом проговорил я. – Лучше итальянцев.

– Сколько? – не меняя позы и даже не вынимая папиросы изо рта, поинтересовался парень.

– Ну одну, наверное, – растерялся я.

– Денег у тебя сколько? – вздохнул продавец.

– А, денег. – Я поспешно выгреб из кармана всё, что имелось у нас с Лёнькой на двоих. – Вот…

Парень окинул меня презрительным взглядом.

– С этим иди в «Промтовары», купи себе пластинку с детской сказочкой.

– А сколько надо-то?

Уже не помню сейчас, какую сумму он назвал, но раз в пять большую, чем та, что у нас имелась. Пришлось уйти ни с чем.

Мы с Лёнькой уныло плелись по набережной, размышляя, что теперь делать.

– Ну-ужны тебе эти рё-обра. – Лёнька досадливо пнул попавшийся под ноги камешек. – Ну попро-оси у кого-ни-ибудь из ре-ебят послу-ушать.

– Не дадут просто так. Все только меняются, – возразил я. – Свою надо.

– Ну по-ошли тогда в «Про-омтовары», посмо-отрим, что там про-одают.

И мы пошли, ни на что не надеясь. Пластинки в «Промтоварах» были нам по карману, вот только лежали на прилавке всё те же хоры из отдалённых уголков необъятной родины, несколько детских сказок и сборник Утёсова. На него-то Лёнька и обратил внимание.

– Вот, смо-отри, напи-исано – «Италья-анская песе-енка»! – обрадовался он.

– Что бы ты понимал! Это же наш певец, Утёсов. Ну который про «Чёрное море» поёт!

Песня «У Чёрного моря» в Сочи была очень популярна, летом её исполняли по десять раз за вечер чуть ли не в каждом ресторане.

– И что? Хоро-оший певец, – пожал плечами Лёнька. – Мы во-озьмём эту.

По дороге домой я пытался ему втолковать, что «Итальянская песенка» Утёсова и песни итальянцев – это совсем разные вещи. Но купленную пластинку мы всё-таки поставили на диск проигрывателя, я опустил иглу на начало, и в комнате зазвучал низкий и какой-то озорной голос:

Эта песня на два сольди, на два гроша,

С нею люди вспоминают о хорошем,

И тебя она вздохнуть заставит тоже,

О твоей беспечной юности она…

Меня, помню, песенка тогда не особенно впечатлила. А Лёнька задумчиво шевелил пальцами, будто мелодию подбирал. Потом сел за моего сиротливо стоящего «Бехштейна» и начал подыгрывать, всё больше входя во вкус. Он уже и тихонько подпевал в припеве, и ногой ритм отстукивал. И вот тут меня осенило. Я схватил его за плечо и развернул к себе, отрывая от инструмента.

– Лёнька, а ты можешь партитуру расписать?

– Мо-огу, поче-ему нет?

– Любой песни?

– На-аверное, – меланхолично отозвался друг.

В этот момент я понял, как заполучить ценные пластинки. Напомню, в то время ни копировальных, ни звукозаписывающих устройств у простых смертных ещё не было, зато играть на каком-нибудь музыкальном инструменте умели почти все дети из приличных семей. Но абсолютным слухом, как у моего друга, похвастаться мало кто мог. И когда Лёнька расписывал на ноты джазовую «Во Стамбуле-Константинополе» или волнующую сердце любого мальчишки «Диану» Поля Анки, его самодельным партитурам цены не было. Он подходил к делу тщательно, указывая все штрихи, все нюансы, так что бери и играй. И брали, и играли на школьных вечерах и на домашних праздниках. А так как связующим звеном между одноклассниками и Лёнькой, по-прежнему почти ни с кем не общавшимся, был я, то ко мне потекли все лучшие, самые ценные и популярные пластинки. Кто у фарцовщиков купил, кому дядя-матрос из загранплавания контрабандой привёз, кто на каникулы в Москву ездил и там добыл, – не важно, всё стекалось ко мне.

На создание партитуры Лёньке требовалось несколько часов, но кто об этом знал? Я брал пластинку на неделю, и неделю мы с ним балдели, распевая во весь голос абракадабру вместе с очередным американским или итальянским певцом. Слова разобрать мы не могли, так как в школе изучали немецкий да и не очень-то тщательно. Но мы не расстраивались, компенсируя незнание текста энтузиазмом исполнения. Я просто орал, Лёнька ещё и подыгрывал, и даже у глуховатого деда волосы дыбом вставали от наших концертов.

Лёньке очень нравилось петь. Замкнутый, обычно хмурый, он полностью преображался при первых аккордах очередной песни. Может, дело было в том, что он не заикался только когда пел? Пение давало ему свободу, которой он не знал в обычной жизни. У него загорались глаза, он начинал кривляться, изображать певца на сцене, а то и в лицах разыгрывать какую-нибудь сценку, иллюстрируя песню, например, объяснение в любви прекрасной даме. А как мы с ним плясали под «Стамбул», даже чечётку пытались отбивать!

И, как мне сейчас вспоминается, уже тогда у него был неплохой голос. Жаль, что магнитофоны в то время ещё не появились и записать себя мы не могли. А может, мне только так кажется, ведь лет нам было примерно по пятнадцать-шестнадцать, а в этом возрасте у мальчиков как раз происходит ломка. И вполне вероятно, что выли мы фальцетом, иногда переходя на бас.

Вскоре у каждого сформировался собственный музыкальный вкус. Мне нравился джаз, а Лёнька предпочитал лирические мелодии. Как ни странно, при таком доступе к запрещённой музыке он часто принимался напевать и наигрывать вполне официальные вещи из репертуара того же Утёсова или песенку из какого-нибудь советского фильма. Но даже правильная песня про «заводскую проходную» из «Весны на Заречной улице» была безнадёжно далека от классической музыки, которую полагалось играть серьёзному пианисту. Несколько раз Лёньку пытались вернуть в лоно классики: его ругал Илья Степанович за увлечение «этой пакостью», бабушка то и дело напоминала, что он должен закончить музыкалку и учиться дальше, что талант накладывает на него обязательства и всё такое прочее. Он кивал, соглашался и снова прибегал ко мне слушать пластинки. А когда наступило лето, мы обнаглели вконец – начали выставлять проигрыватель на подоконник открытого окна и устраивать во дворе то, что сегодня бы назвали дискотекой. Под окнами собирались соседские ребята и девчонки, танцевали, а мы, как заправские диджеи, только меняли пластинки.

А потом приехал его отец.

* * *

Я даже не знал, что у них опять гостит батя, иначе бы и не сунулся. Признаться, старшего Волка я побаивался – взгляд у него такой был неприятный, насквозь пронзающий. И Лёнька старался о нём не рассказывать. Но, повторюсь, я был не

в курсе, а Лёнька мне срочно понадобился по какому-то очередному жутко важному вопросу. Я постучал условленным образом – три и через паузу два раза. Обычно Лёнька на этот стук открывал сам. Но дверь распахнул Виталий Алексеевич.

– А Лёня дома? – выпалил я машинально и вдруг понял, как глупо выгляжу – здоровый парень, а всё будто в песочнице: «А Лёня выйдет?»

Волк отрицательно покачал головой.

– Кто там, Виталик? – За его спиной появилась бабушка Сима. – Боря? Я думала, Лёня с тобой!

И судя по её встревоженному лицу, она давно уже так думала. Интересное кино!

– Он с утра куда-то убежал, – продолжила бабушка Сима.

На улице темнело. Пришлось срочно соврать, что с утра мы действительно встречались и вообще мне пора, да смыться от греха подальше.

Первым делом я наведался в бамбуковую рощу, но там Лёньки не оказалось. Это становилось интересно. В Лёнькиной жизни явно что-то происходило, а я, лучший друг, был не в курсе! Мириться с таким положением дел я, конечно, не мог.

Обнаружился он на море, на нашем любимом диком пляже, где даже в сезон почти не бывало отдыхающих из-за неудобного, крутого спуска с горы. Лёнька сидел на берегу и кидал в воду камни, стараясь запускать их каскадом. Я плюхнулся рядом, мысленно жалея новые штаны, на которых обязательно останутся разводы от соли. Некоторое время мы молчали.

– И что случилось? – наконец спустя минут двадцать молчания, поинтересовался я.

– Оте-ец за-абирает ме-еня в Мо-оскву.

Тоже мне, новость! Он каждый год его «забирает». А потом находится тысяча причин, по которым Лёнька остаётся в Сочи.

– На это-от ра-аз пра-авда, – вздохнул Лёня, прочитав мои мысли. – Уже би-илет ку-упили.

И он начал рассказывать, спотыкаясь на каждом слове, так что мне поминутно приходилось одёргивать его привычной фразой: «Лёня, пой!»

В кои-то веки бабушка Сима и старший Волк пришли к согласию. Если раньше Серафима Ивановна категорически противилась отправке Лёни в Москву, то теперь вдруг поддержала отца. А судя по тому, что он сразу приехал с билетом, все переговоры уже давно велись за Лёнькиной спиной то ли по телефону, то ли в письмах. Бабушка хотела, чтобы он поступал в Московскую консерваторию.

– В Со-очи не-егде да-альше у-учиться, – копируя интонацию, повторил её слова Лёнька. – А у те-ебя та-алант. Да про-овалился бы он, это-от та-алант!

– Но ты же хотел в Москву, – недоумевал я. – Ты там даже не был никогда! Неужели не интересно посмотреть?

Лёнька пожал плечами.

– Ра-аньше бы-ыло инте-ересно. А те-еперь всё ра-авно. Не хо-очу во-от та-ак, на-асильно. Ра-аньше на-адо бы-ыло.

Тогда я его искренне не понимал. Мне Москва, столица нашей родины, была знакома только по картинкам в книжках да фильмам, и я, не выезжавший дальше Лазаревского района Сочи, мечтал побывать в большом городе. Это сейчас уже осознаю, что Лёнька боялся потерять свой привычный мир, в котором хоть как-то научился существовать: бабушку, которая понимала его невнятную речь, преподавателей, которые научились принимать его таким, какой он есть, меня, единственного друга. Для него всё это было гораздо важнее, чем какие-то туманные возможности столицы, о которых ему все твердили.

– Ни черта ты не понимаешь, – убеждал я его. – В Москве театры, концерты, выставки! Да там скоро фестиваль молодёжи и студентов будет проходить! Я по

радио слышал! Негры приедут, новоорлеанский джаз, представляешь? Ну где ты в нашей дыре настоящий джаз услышишь? Лёнька, да не будь ты дураком! Я бы всё на свете отдал, чтобы с тобой поехать!

– По-оехали! – Он вцепился в меня мёртвой хваткой. – По-оехали, Бо-орь!

Я только вздохнул. Ну да, так меня мать и отпустит. А за дедом кто будет смотреть? Я вообще понятия не имел, чем займусь дальше. Да и кому я в Москве нужен? Это он у нас почти москвич – с отцом-подполковником и квартирой.

– Прекрати трусить! Всё будет отлично! Поступишь в свою консерваторию, сразишь там всех своим талантом. У тебя же абсолютный слух, Лёнька! А память какая! А техника! Да тебя на руках носить начнут, как только ты крышку рояля откроешь.

Он как-то уныло на меня смотрел и совсем не заражался моим энтузиазмом. В конце концов я отвёл его домой, а сам вернулся на набережную. Дошёл до первой попавшейся кафешки и заказал бутылку портвейна. Наглость неслыханная, так как совершеннолетним я ещё не был. Но документы у меня никто не спросил, портвейн мне принесли, и я глушил своё отвратительное настроение дешёвым, а для меня тогдашнего невероятно дорогим пойлом, не понимая, что со мной происходит. А это просто заканчивалось наше с Лёнькой детство. Нищее, послевоенное и счастливое детство.

Лёнька уехал через три дня, и я ничего о нём не знал до конца лета. К Серафиме Ивановне подойти стеснялся. Я болтался как неприкаянный, собираясь то в матросы, то в водители, но на самом деле не хотел делать вообще ничего. А потом пришло письмо от Лёньки…

* * *

Москва Лёню оглушила сразу, как только он ступил на вокзальную площадь. Суетливые люди, похожие на отдыхающих, которых в Сочи он всегда с первого взгляда отличал от местных. Но если по Сочи отдыхающие ходили с блаженными улыбками вырвавшихся в рай счастливчиков, то здесь лица были разные и по большей части хмурые, напряжённые, озабоченные своими проблемами. Здесь никому ни до кого не было дела, причём это в равной степени относилось и к

своим и к чужим. Такой неутешительный вывод он сделал уже в день приезда, очутившись в отцовском доме.

В детстве он много раз представлял себе, как папа забирает его в Москву, как он входит в комнату с высокими потолками и лепниной – почему-то в его воображении квартира отца очень напоминала квартиру Карлинских в Сочи, которая всегда казалась ему шикарной по сравнению с их с бабушкой скромным домиком с удобствами во дворе. Реальность же оказалась ещё роскошнее – целых три комнаты, не считая кухни: гостиная с огромным сервантом, заставленным посудой, спальня, в которую вела двустворчатая массивная дверь из тёмного дерева с блестящими ручками, и детская – собственная комната Лики, заваленная таким количеством игрушек, какого Лёня не видел даже в магазине детских товаров в Сочи. Причём десятилетнюю Лику, как потом выяснилось, они совершенно не интересовали, куда больше её занимал телевизор и походы с матерью в театры и на концерты.

Да, а как не упомянуть про ванную комнату, отдельную комнату, в которой можно было мыться в любое время дня и ночи. Открывай кран, и из него польётся горячая вода. И не нужно, затеяв купание, предварительно таскать дрова и растапливать печку, как они делали с бабушкой в Сочи.

Лёня ходил среди всего этого великолепия и не знал, куда себя деть.

– В спальню взрослых дети не заходят, – сообщил отец, пристраивая его чемодан между обеденным столом, занимавшем центр гостиной, и диваном.

Лёня кивнул, мысленно отмечая, что его причислили к категории детей, объединив с Ликой. Значит, и поселится он в детской. Интересно, куда тогда денутся игрушки? Если не выкинуть хотя бы половину, в комнату не влезет ещё одна кровать.

– Спать будешь в зале, на вот этом диване, – продолжил отец. – Но уговор: утром встал – сразу убираешь постель, чтобы в комнате был порядок. Вещи не разбрасываем: Ангелина очень любит порядок. А пианино мы поставим вот сюда.

Он задумчиво посмотрел на единственную свободную стену в гостиной.

– Да, картину можно перевесить, тумбочку подвинем, и оно встанет.

Пианино ехало грузовым поездом и должно было прибыть позже.

– Пианино? – встряла Лика, впервые за всё время отвлёкшись от телевизора, по которому передавали какую-то сказку. – А откуда пианино?

– Из Сочи. Лёня у нас ведь музыкант, ему нужно заниматься, – пояснил отец, тут же смягчив тон.

– Я тоже хочу! – заявила Лика. – Хочу играть на пианино!

– Лёня тебя научит, детка. Правда, Лёня?

– Пра-авда, – пробормотал Лёня.

Жалко ему, что ли. Покажет девчонке пару простеньких мелодий. Но Лика, услышав его «пра-авда», тут же захихикала.

– Так ты – заика? А ещё что-нибудь скажи!

– Лика! – одёрнул её отец. – Брысь в свою комнату! Миллион раз говорил тебе, что телевизор нельзя долго смотреть, он перегреется и взорвётся!

Лика поспешно щёлкнула выключателем и улизнула в свою комнату.

– Ладно, осваивайся, я пойду душ приму с дороги, – резюмировал отец. – В пять Ангелина придёт, будем ужинать.

Лёня присел на диван возле своего чемодана, не зная, что делать. Надо было разложить вещи, всё, что собрала ему с собой бабушка: смену белья, пару рубашек и костюм «на выход», книжки и ноты. Но куда всё это девать? Не на стол же посреди комнаты. Он задвинул чемодан подальше и подошёл к окну. Дом стоял у дороги, по которой то и дело проезжали машины. Вокруг голый асфальт, напротив ещё одна высотка. Лёня посильнее высунулся в окно. Воздух пах пылью и, едва уловимо, гарью, как будто кто-то жёг внизу костёр. Но костров Лёня не увидел, да и что тут жечь, не листья же – во дворе ни одного дерева, только три чахлых кустика возле подъезда.

«Новый район, отдельная квартира, не коммуналка какая-то, условия царские, – рассказывал отец, пока они ехали в поезде. – В прошлом году вселились. И до метро пять минут пешком!»

Лёня кивал, соглашаясь с восторгами отца, хотя понятия не имел, что такое метро и почему близость к нему так важна. Его вообще ошеломили московские расстояния, они с вокзала до дома добирались столько времени, что можно было от Адлера до Дагомыса доехать!

О том, что у отца в Москве есть семья, он знал уже давно, отец сам рассказывал, даже фотографии показывал. Каждый раз обещал на следующее лето привезти Ангелину и Лику в гости на море. Но бабушка каждый раз так поджимала губы, что он осекался и приезжал один. Так что сестру и мачеху Лёня видел только на снимках. С сестрой вот уже имел честь познакомиться, и друг друга они явно не заинтересовали. Да и с чего бы? Слишком большая разница в возрасте. Десять лет Лика прекрасно жила без брата и искренне не понимала, почему должна теперь любить этого незнакомого парня, к тому же ещё и заикающегося, «деревня деревней», как потом заявила она отцу во время очередного внушения на тему братско-сестринской дружбы.

Ангелина Константиновна появилась ближе к вечеру, когда Лёня уже успел искупаться в душе (и провёл там почти час, не в силах поверить, что горячая вода не кончится, сколько бы он её на себя ни лил), полистать пару книг из шкафа, оказавшихся на редкость занудными, и вдоволь насмотреться в окно со скуки.

– Ну что, вы уже дома? – прощебетала она с порога. – И где этот милый мальчик? Лёня, иди, я хочу на тебя посмотреть.

Лёня послушно вышел в прихожую. Миниатюрная женщина с неестественно белыми волосами, завитыми в крупные кудри и слишком, на его взгляд, ярко накрашенная, тут же кинулась его обнимать и целовать, обдав непривычным и резким запахом духов. Лёня ошалел от такого бурного проявления эмоций – даже бабушка, самый близкий ему человек, крайне редко обнимала внука, разве что в далёком детстве, и то, когда с ним что-нибудь случалось.

– Папа так много о тебе рассказывал, – щебетала Ангелина Константиновна. – Ты только не подумай, я не настаиваю, чтобы ты называл меня мамой. Можешь

звать меня просто Ангелой и на «ты».

Ещё чего не хватало, подумал Лёня. Ни мамой, ни Ангелой он звать её не собирался, просто язык бы не повернулся. Слово «мама» вообще не вызывало у него никаких чувств, а обращаться к старшим на «ты» он как-то не привык.

– Пойдёмте, пойдёмте скорее ужинать! Я купила чудесные котлетки в кулинарии, только обжарить. Устроим праздничный ужин в честь воссоединения семьи.

Позже Лёня понял, что Ангелина большая любительница громких фраз и явных преувеличений. Начиная с воссоединения семьи и заканчивая чудесными котлетками, которые оказались на редкость гадкими. К тому же мачеха их толком не прожарила, так что они подгорели снаружи, а внутри остались сырыми. Лёня, сохранивший и в подростковом возрасте, и потом на всю жизнь чувствительность к некачественной еде вплоть до моментальной рвоты, к котлеткам отнёсся с большим подозрением, и ограничился салатом из помидоров и огурцов, который Ангелина настрогала вместо гарнира. Судя по тому, как спокойно и покорно грызли недожаренные котлеты отец и Лика, кулинарных шедевров от Ангелины никто и не ждал. Лёня с тоской вспомнил бабушкины паровые тефтели из куриного мяса с нежнейшим, без единого комочка пюре, специально приготовленные для внука, чтобы он хоть что-нибудь поел. Здесь на такую роскошь рассчитывать не приходилось.

Ладно, не беда. Он ведь сюда не жрать приехал, а готовить он и сам умеет, были бы продукты. Хватит раскисать! Одёргивая себя подобным образом, Лёня доедал салат, слушая рассказ Ангелины о новой выставке в Третьяковской галерее, где, как выяснилось, она работала. Отец время от времени вставлял отдельные фразы в её рассказ, но больше молча кивал. Лика давно уже выскользнула из-за стола и устроилась у телевизора.

Лёня снова почувствовал себя лишним. Тут была своя жизнь, свои интересы, непонятные ему. И люди эти были ему, по сути, чужими, даже отец, которого он раньше видел две недели в году. К тому же Лёне, уставшему и переполненному впечатлениями за длинный день, очень хотелось уединиться, побыть с самим собой. Дома, в Сочи, несмотря на стеснённые жилищные условия, у него был собственный угол между печкой и стенкой, где стоял его топчан. А чуть дальше – его пианино, крышку которого он использовал и как письменный стол. И даже если в другом конце комнаты Олеся обсуждала важнейшую новость с тут

же крутящейся по хозяйству бабушкой, его никто не беспокоил, не втягивал в общение, позволяя заниматься своими делами – готовить уроки, разучивать пьесу или просто читать. Никто не требовал от него сидеть за общим столом, слушать неинтересные истории и кивать. А сейчас ему даже уйти было некуда – на выделенном диване раскинулась Лика, увлечённо смотревшая программу «Время». Туда же после ужина с газетой уселся отец, так что Лёне остался только краешек, и ни о каком уединении не шло и речи.

Спать он лёг уже за полночь, когда все разбрелись по своим комнатам. Ангелина выдала ему чистое постельное бельё, ужасно мятое. «Я не глажу, это предрассудки», – заявила она. В тот момент Лёне было уже всё равно, он бы и без белья уснул. А вот утром, собираясь в консерваторию, ему пришлось самому возиться с утюгом, первый раз в жизни отглаживая себе брюки. Получилось, конечно, безобразно, стрелки двоились, левая штанина вообще осталась мятой, а правую он чуть не прожёг. Рубашку гладить не стал, решив, что и так сойдёт, отвисится на нём по дороге. Отец ушёл на службу, наскоро объяснив ему, как добраться до консерватории. У Ангелины по понедельникам был выходной, и это означало, как объяснила скучающим тоном Лика, что она проспит до полудня. Так что Лёне предстояло самому искать будущую альма-матер, куда он сейчас собирался на разведку.

* * *

Телефон зазвонил в пятый раз за последние полчаса, и Леонид Витальевич, сбросив вызов, так шваркнул его об стол, что от грохота подскочили и вылетели из-под его стула обосновавшиеся там собаки.

– Полегче, полегче! – Борис аккуратно собрал последним кусочком сырника оставшуюся на тарелке сметану, отправил всё это в рот и поднял мобильник, с интересом его рассматривая. – Надо же, не разбил. Жалко было бы, игрушка дорогая.

– У ме-еня ещё два та-аких же есть, – буркнул Волк. – Нада-арили го-овна.

– Везёт. Мне вот только коньяк дарят. Не проще ответить? Кто там тебя домогается?

– Же-ека. – Леонид Витальевич скривился как от зубной боли. – У меня се-егодня вы-ыход на ко-онцерте ко Дню учи-ителя. Две пе-есни.

– Так ответь! Скажи, что заболел, пусть всё отменит!

– Ска-ажи! Во-от та-ак я и ска-ажу! И что он по-одумает? Он не в ку-урсе, зна-аешь ли!

Борис знал, конечно. Тот факт, что Волк когда-то заикался, был его самой большой и тщательно охраняемой тайной. Он даже подробности жизни с Оксанкой так не скрывал, как заикание.

– Да не поймёт он ни черта. Решит, что ты пьяный. Лёнь, ну ты же не можешь вообще исчезнуть? Хотя бы директора надо в известность поставить. Хочешь, я сам ему отвечу?

Волк покачал головой.

– Не зна-аю, Бо-орь. Во-обще не зна-аю, что те-еперь де-елать.

Он был в полном отчаянии. Вечером концерт ко Дню учителя, завтра он должен был петь на одном небольшом корпоративчике в Питере, через три дня его ждали в Туле на открытии музыкального фестиваля. Хорошо, допустим, можно спеть под фонограмму, под чистый «плюс», а не под «дабл», как он делал в последнее время: после операции начала подводить дыхалка, он опасался, что в сложных местах даст петуха, но и опуститься до «фанеры», с его-то старой школой и его принципами, не мог. Вот и стал петь «дабл», пускать плюсовую фонограмму, но петь живым звуком поверх неё. Допустим, сегодня он выйдет под плюс, а завтра на корпоративе как? Там ведь не только петь, там ещё и публику надо веселить, со зрителями общаться. Да и за кулисами с коллегами нужно хотя бы здороваться.

А гастроли в Израиле, которые теперь накрывались медным тазом ещё и из-за подписки о невыезде? С ними что делать? К чертям летели все его планы, договорённости да вся его жизнь, потому что жизнью Волка в последние годы была исключительно сцена. Ну и женщины, конечно. Чёрт, Лиза! Он совсем о ней забыл, словно заблокировал в памяти события, с которых и начался этот кошмар.

– Бо-орь! – Он поднял голову от тарелки, которую сосредоточенно рассматривал. – Ли-изу на-адо по-охоронить. У нее не-ет нико-ого…

– Твою мать, Лёня! Вот ты не о том думаешь! Никто тебе сейчас Лизу не отдаст. Прости за цинизм, но она будет в судебном морге, пока не закончится следствие. И я надеюсь, ты ко всей этой истории не имеешь никакого отношения?

– Бо-оря! Я не-не-не…

Волка затрясло так, что он не договорил последнюю фразу. Борис тоже спохватился.

– Всё, всё, угомонись, я понял. Давай вообще сейчас об этом не будем! Теперь твоим делом займётся Мирон, ты знаешь, он адвокат от бога, он во всём разберётся. Он, кстати, звонил, пока ты мылся. Хочет с тобой пообщаться, но я сказал, что это позже. Тебе нужно отдохнуть, прийти в себя, успокоиться. Пошли-ка в кабинет, коньячку хряпнем. Только тихо, чтобы Поля не видела.

Борис Аркадьевич встал и решительно вытряхнул друга из-за стола.

– Пошли, пошли. А потом тебе поспать надо и мне тоже, кстати. Твоими стараниями ночь у меня была не из лучших.

Несмотря на ранний час, коньячок пошёл за милую душу. Вопреки обыкновению, Леонид Витальевич не стал разбавлять его водой – он всегда берёг связки, боялся обжечь их крепкими напитками, но сейчас куда важнее было подлечить нервы, и он пил, даже игнорируя разломанную Борькой шоколадку.

– Хорошо, – пробормотал Борис, опуская бокал. – Лёньк, а хочешь, давай Настасью сюда вызовем? Домой, как я понял, тебя не тянет? А Настька тебя быстро в форму приведёт.

Волк поднял на друга тяжёлый взгляд.

– Что? Да я просто предложил! Ой, ну не говори, что у тебя с Лизой было серьёзно? Лёнь? Ты чего? Серьёзнее, чем с Настасьей?

Леонид Витальевич с мрачным видом потянулся к хрустальной пепельнице, явно намереваясь запустить ею в друга. Иногда Борька не чувствовал момент, когда нужно просто заткнуться.

– Всё-всё, молчу я. Просто предложил! – поспешно сдался он. – Я же для тебя стараюсь!

– Я по-онимаю, – вздохнул Волк. – Спа-асибо. Не хо-очу я нико-ого сейчас ви-идеть. И те-ем бо-олее… Ну ты зна-аешь. И не у те-ебя до-ома, при По-оле.

– Ой, ладно тебе! – Борис разлил новую порцию коньяка. – Как будто первый раз! И ты в курсе, как Поля к ней относится. Честно, Лёнь, из всех твоих баб Настька самая особенная. Если б у меня такая была…

– То-о что? – усмехнулся Волк. – Ты бы ра-азвёлся с По-олей?

– Нет, конечно. Жена – это жена, ты не путай, мать детей, хранительница очага. Но других любовниц я бы не заводил. И потом, одно дело моя Поля, а другое – твоя мегера. И ситуации у нас разные.

– Ра-азные.

– А насчёт Настьки подумай. Или сам к ней попозже съезди. Отмени все концерты, пошли к чертям Жеку и махни к Настьке на пару дней. Вот увидишь, она мигом твой рецидив вылечит. Любовью и лаской.

Леонид Витальевич покачал головой и с бокалом в руке подошёл к окну. Постоял, задумчиво разглядывая странный сад Карлинских. Они не выращивали ни фруктовые деревья, ни модные в последнее время среди московской тусовки агавы и прочие экзотические кустики, подыхающие в слишком суровом, холодном климате, но снова и снова возвращаемые к жизни хитроумными ландшафтными дизайнерами и садоводами. Помимо сосен во дворе Карлинских росли берёзы и рябины, которые сейчас как раз пожелтели и были увешаны гроздьями ярко-красных ягод.

– Кра-асиво у те-ебя, – пробормотал Волк, присаживаясь на подоконник. – Ря-абины. Для ме-еня они по-почему-то гла-авный си-имвол Мо-осквы. Не Кре-емль,

не Кра-асная пло-ощадь, не Во-оробьёвы го-оры. А ря-абины – жё-олтые, с кра-асными я-агодами.

– Ну надо же, москвич, – усмехнулся Борька. – Берёзки, рябинки и слёзы на глазах. Всё, Волку больше не наливать. А забыл, как ты мне в Сочи писал из Москвы? «Боря, здесь ни одной пальмы! И платанов нет! Деревья все какие-то облезлые!»

– Ты по-омнишь?

– Ещё бы! Я то твоё письмо за год чуть не наизусть выучил!

* * *

Переписываться они с Борькой начали почти сразу, как только Лёня приехал в Москву. Никогда он не увлекался эпистолярным жанром, а тут вдруг почувствовал потребность писать, рассказывать о своих проблемах и переживаниях. Письма стали его единственным способом общения, так как поговорить Лёне было не с кем. Отец с утра уходил на службу и возвращался поздно вечером, Ангелина, тоже вечно пропадающая либо на работе, либо в театре или на очередной выставке, вообще не интересовалась его жизнью, впрочем, как и он не горел желанием общаться с мачехой. С Ликой они друг друга игнорировали. К тому же потерялось пианино. Что-то там напутали с вагонами при переформировании состава, и оно уехало аж в Кемерово.

– Ждите, – пожала плечами суровая тётенька в привокзальной конторе. – Недели через три приедет.

Лёня чуть не заплакал. Три недели, а у него первый экзамен через два дня! Ему нужно заниматься, нужно повторять программу, нужно разминать руки! Если бы он был в Сочи, он нашёл бы друзей с инструментом, да у того же Борьки бы играл на его «Бехштейне». А в Москве он никого не знал, да тут и узнать невозможно! Соседи по подъезду даже не здороваются! Он-то привык, что в Сочи знал каждого жильца своего двора, да что там двора, почти всей улицы. И его все знали! И хотя он был далеко не общительным мальчиком, легко мог зайти к тёте Нюре за солью или попросить дядю Пашу починить сломавшийся самокат. Это было нормально, привычно – заходить к соседям, просто так или с

какой-то просьбой. А в Москве каждый жил сам по себе. На днях Лика разбила коленку, а в доме не оказалось йода, так Лёню послали в аптеку через дорогу. Никому и в голову не пришло постучать к соседям.

На экзамен его никто не провожал, дома вообще забыли, что наступил день, ради которого Лёня и приехал. Ну и хорошо, меньше шума. Лёня незаметно выскользнул из подъезда с нотной тетрадью в руках и деньгами на дорогу, выданными отцом строго под расчёт, во всё тех же мятых брюках и давно несвежей рубашке. Дорогу он запомнил ещё с прошлого раза, когда приходил сдавать документы для поступления. Но если тогда его встретили пустынные гулкие коридоры огромного здания консерватории, по которым он долго блуждал, прежде чем отыскал приёмную комиссию, то теперь здесь было не протолкнуться. Юноши и девушки группками стояли во дворе, окружали памятник Чайковскому, сидели на ограде, что-то бурно обсуждали, спорили, повторяли, зарывшись в нотные тетради.

Лёня протиснулся ко входу, затравленно озираясь. Ему казалось, он единственный пришёл «с улицы», а все остальные знакомы друг с другом, слишком уж непосредственно они общались. Хотя нет, вон тот парень вроде тоже один, и вон там девчонка со скрипкой одна стоит. Можно было бы к кому-то из них подойти, познакомиться, но он постеснялся. Заикаться ведь начнёт, засмеют ещё. Ладно, он не дружить сюда приехал, а учиться. Сейчас главное поступить, а там как-нибудь.

– Смотри, смотри, а вот этот, в шароварах! – услышал он за спиной оживлённый шёпот. – Ещё один деревенский лапоть. Юное дарование из села Кукуево!

– На что они надеются? – распевно-меланхолично ответил второй, девчачий, голос. – Едут и едут.

Лёня обернулся и понял, что говорят о нём. Парень в джинсах с тщательно уложенными и явно чем-то смазанными – больно уж блестели – волосами, смотрел на него в упор и ехидно улыбался. Девушка, стоящая рядом с ним, поймала Лёнин взгляд, закатила глаза и отвернулась. Лёня почувствовал, как краска приливает к лицу. Он ведь даже рот не открыл, а над ним уже смеются! Почему шаровары? Нормальные штаны! Ну стрелки у него не получаются, ну широковаты они… Лёня обратил уже внимание, что московские ребята предпочитают узкие брюки-дудочки или джинсы.

Он поспешил зайти в здание, потолкался по коридорам, отыскал аудиторию, где шёл экзамен для пианистов, занял очередь и притулился в сторонке возле окна, чтобы не привлекать внимания и не становиться предметом обсуждения. Стоял и смотрел на качающиеся за стеклом гроздья рябины. Дверь аудитории открылась, и из неё вышла девчонка с невозмутимым выражением лица. К ней тут же бросились подружки.

– Ну как? Что сказали?

– Да что сказали, – пожала та плечами. – Спросили, какой известный композитор сегодня родился.

– Сегодня? – протянула одна из подружек. – А сегодня какое число? Семнадцатое. Стравинский?

– Конечно, – фыркнула первая, будто речь шла о какой-то сущей ерунде, понятной, как дважды два.

– И всё?

– Нет, ещё спросили, что он написал.

Тут же засмеялись все. Лёня стоял спиной к ним, но ловил каждое слово. И ничего не понимал. Экзамен же по специальности. Нужно сыграть прелюдию и фугу из «Хорошо темперированного клавира» Баха, сонату Моцарта или Шуберта, а ещё этюд. Какой Стравинский? И какая разница, когда он родился?

Лёня перебирал в памяти известных ему композиторов, но дату рождения ни одного из них он не помнил. Неужели это так важно для будущего пианиста? Глупость какая-то.

Наконец дошла и его очередь. Он вошёл в аудиторию и тут же наткнулся на преподавательский стол, больно ударившись коленкой.

– Здра-авствуйте, – пробормотал он и мысленно себя обругал.

Решил же рта не открывать, просто кивнуть и сесть играть. А теперь сразу поймут, что он заика. Но профессора вообще не обращали на него внимания, они что-то обсуждали между собой, сверяясь с бумагами на столе.

– Так, а вы у нас кто? – наконец поинтересовалась дама лет шестидесяти с фиолетовыми волосами, собранными в куль на затылке.

– Во-олк Ле-еонид, – старательно произнёс Лёня.

– Петь не обязательно, вы не на вокальный факультет поступаете, – отрезала дама. – Играйте.

Лёня с облегчением начал играть, надеясь, что никакие каверзные вопросы про композиторов ему задавать не станут. И, несмотря на то что уже две недели не подходил к инструменту, играл, как ему казалось, очень хорошо. Стоило зазвучать Баху, как для него перестали существовать и строгие профессора, и насмешливые будущие однокурсники, и вся эта Москва, живущая по странным, непонятным законам. Это всё было очень далеко и как будто не с ним. Лёня был полностью поглощён музыкой.

– Достаточно! – дама с фиолетовыми волосами бесцеремонно оборвала Баха. – Вы свободны.

Лёня растерялся. А соната, а этюд? И что это значит, «вы свободны»? Это хорошо или плохо?

Результаты творческого испытания, как тут называли экзамен по специальности, абитуриентам никто не объявил.

– Всё после профессионального испытания, – сообщил секретарь экзаменационной комиссии толпившимся под дверью аудитории страдальцам.

Профессиональное испытание должно было состояться на следующий день. Его Лёня боялся больше, потому что проходил экзамен в форме собеседования. Весь вечер он просидел над учебником Способина по сольфеджио, повторяя то, что и так прекрасно знал, безуспешно пытаясь сосредоточиться. На его диване вольготно устроилась Ангелина и увлечённо рассказывала о специальной

экспозиции, которая готовилась в Третьяковке к фестивалю молодёжи и студентов. Отец смотрел телевизор, иногда ей кивая, но, судя по озабоченному лицу, мыслями он был где-то очень далеко, вероятно, на службе. Лика тоже слушала рассказ матери, постоянно вклиниваясь в него с вопросами – её очень интересовало всё, что касалось фестиваля. И все вместе они создавали такой шум, что Лёне приходилось по десять раз перечитывать одну и ту же строчку, чтобы понять смысл написанного. Никто не спрашивал его, как прошёл первый экзамен. Только отец за ужином задал один-единственный вопрос: «Сдал?» Лёня пожал плечами и объяснил, что результаты объявят после всех испытаний. Отец коротко кивнул и ничего уточнять не стал. Складывалось ощущение, что всем всё равно. А Лёньке, замкнутому, неразговорчивому Лёньке очень хотелось с кем-нибудь обсудить странное поведение профессоров, непонятные разговоры ребят да даже свои штаны, которые обозвали сегодня шароварами. Услышать пару ободряющих, мол, что сыграл он хорошо, что он обязательно поступит, а штаны можно ушить, и они превратятся в модные дудочки. Это всё мог бы сказать Борька. А бабушка бы просто усмехнулась его переживаниям, посоветовала «быть мужиком» и вытереть сопли, а потом взялась бы за иголку с ниткой и подшила брюки. Но рядом с Лёнькой сейчас не было ни бабушки, ни Борьки, и он, захлопнув бесполезный учебник, вырвал из тетрадки листок и начал писать письмо. О том, что жить в этом городе невозможно, что он не понимает этих равнодушных людей с каменными лицами, что скучает по морю и магнолиям, которыми была засажена его любимая привычная маленькая улица, по розовому олеандру, растущему в их дворе, по своему топчану, на который никто никогда не покушался и на котором он мог хоть сидеть, хоть лежать, не дожидаясь, пока все домашние разойдутся по своим постелям, чтобы наконец-то лечь спать. Он писал обо всей этой ерунде, понимая, что отправлять письмо нельзя, что это как раз те сопли, за которые бабушка его всегда ругала. Нельзя раскисать, он должен сдать завтра экзамен и поступить в консерваторию, чтоб она провалилась. И стать хорошим музыкантом, назло им всем!

Кому – «всем», он и сам не знал. И письмо всё-таки отправил Борьке. По дороге в консерваторию забежал в ближайшее почтовое отделение, купил конверт и марки, написал такой родной адрес и кинул письмо в ящик.

С музыкальным диктантом он справился, как ему показалось, легко. Играли раз семь, и, начиная с пятого, он уже просто проверял написанное. Ничего сложного для его слуха. Гармонию написал за час, хотя на задание отводилось два. Посидел, проверил и, решив, что незачем тратить попусту время, одним из первых отдал листок преподавателю. Профессор вопросительно поднял бровь, пробежал взглядом по листку, нахмурился, но ничего не сказал, кивнул на

дверь.

Ещё часа два Лёня бродил по консерватории, ожидая начала последней части экзамена, устной. Он уже был окончательно измотан, к тому же хотелось есть. Можно было бы пойти в консерваторский буфет, многие абитуриенты так и делали, но лишних денег у него не водилось, да и потратился он сегодня на конверт и марки.

Наконец началась устная часть экзамена. Он вошёл в аудиторию в первой пятёрке, решив побыстрее отмучиться. Профессор, тот же, что проверял его гармонию, подозвал Лёню к инструменту, дал лист с нотами.

– Молодой человек, охарактеризуйте нам эту мелодию и пропойте её.

Лёня взглянул на лист. Ничего сложного.

– Это одного-олосная ме-елодия в ма-ажоре, с хро-оматическими изме-енениями сту-упеней…

– Вы что, издеваетесь? – раздражённо перебил его профессор. – Вы можете говорить нормально?

– Про-остите, я не-емного за-аикаюсь. Да-авайте я лу-учше спою, – пробормотал Лёня, как всегда, от волнения ещё больше сбиваясь и проглатывая окончания.

– Вы с ума сошли, молодой человек? Вы куда поступаете? Вы поступаете в лучшее музыкальное учебное заведение столицы! Да что там столицы, всей страны! У нас огромный конкурс, сорок человек на место! Приезжают одарённые юноши и девушки из всех союзных республик. И вы считаете, что можете тратить наше время? Кто принял у вас документы?

Лёня не знал, что сказать. Документы он подавал молча, тётка в приёмной комиссии не задала ему ни одного вопроса. Он искренне полагал, что пианисту не обязательно в совершенстве владеть речью, достаточно того, что он в совершенстве владеет инструментом. К тому же он мог петь и готов был сейчас исполнить эту чёртову мелодию в мажоре с хроматическим изменением ступеней и что там у них ещё! Но сказать всего этого профессору он не мог, да

его никто и не слушал.

– Идите, молодой человек, и не задерживайте других! На свете есть множество отличных профессий, стране нужны токари и хлебопекари!

Последнюю фразу он услышал, уже закрывая за собой дверь.

Он всё-таки дождался результатов вступительных испытаний. Из чистого упрямства или из веры в справедливость, он и сам не мог бы сказать. Просто чувствовал, что должен поступить, ведь он выполнил все задания, кроме последнего. И выполнил хорошо, очень хорошо. Но вот вынесли и повесили на доске в коридоре списки поступивших. Три столбика: зачисленные в рамках квоты выпускники центральной музыкальной школы, зачисленные в рамках квоты лица, имеющие особые права, и зачисленные в рамках конкурса. Лёня ничего не понял в этих обозначениях, но свою фамилию ни в одном из списков не нашёл. Значит, всё.

Он вывалился из здания консерватории, дошёл до памятника Петру Ильичу и сел на мраморную ступеньку пьедестала. Закурить бы. Но привычка смолить осталась в Сочи. Здесь курить негде, не в квартире отца же да и не на что.

– Не прошёл? – На ступеньку рядом с ним уселся рыжий парень с усеянным веснушками лицом, на вид чуть постарше Лёни. – Первый раз?

– Пе-ервый, – кивнул Лёня. – И по-оследний.

– Глупости. Я вот три раза поступал и поступил.

– По-оздравляю.

– Я серьёзно, пацан. С первого раза только блатные поступают, по квоте.

– Что ещё за-а кво-ота?

И рыжий охотно объяснил, что дети, закончившие музыкальную школу при консерватории, поступают без экзаменов, просто пройдя собеседование, на котором им задают самые примитивные вопросы, создают видимость экзамена.

Лёня сразу вспомнил девчонок и вопросы про Стравинского, показавшиеся ему идиотскими. Вот почему они были так расслаблены и уверены в себе, они знали, что поступят.

– Это не-ечестно, – пробормотал он.

– Как сказать, – пожал плечами рыжий. – Они десять лет за инструментом в школе горбатились, чтобы этот блат получить.

Лёня хотел сказать, что тоже горбатился, пусть не десять, пусть семь лет. Но вдруг подумал, что вряд ли это слово подходит, что-то в нём есть такое… подневольное. А для него занятия музыкой всегда были отдушиной, поощрением после трудного школьного дня, удовольствием.

– А после це-эм-шат, как мы их называем, идут позвоночные, – продолжил рыжий. – Ну то есть те, за кого позвонили, у кого родители большие шишки. Вот это уже несправедливо, да, когда бездарные детки партийных работников и гэбистов, играющие как ресторанные лабухи, идут вне конкурса.

Тут Лёня подумал, что он-то и есть самый настоящий сын гэбиста или где там его отец служит? Но папа ни словом не обмолвился, что может помочь с поступлением. Да Лёне бы и в голову не пришло его просить.

– Вот и считай, сколько мест остаётся после них всех, – резюмировал рыжий. – Так что, если хочешь на следующий год поступить, мой тебе совет – договорись с кем-нибудь из местных преподов об индивидуальных занятиях. На платной основе, конечно. Тебя за год натаскают, а потом ещё и помогут поступить, дело чести – своего ученика протащить. Что ты так смотришь? Да, я так и поступил. Но поступил же!

– У ме-еня де-енег нет, – вздохнул Лёня.

– Деньги можно заработать. Считай, что тебе сегодня крупно повезло, парень. – Рыжий порылся в потрёпанном портфеле, достал карандаш, вырвал лист из нотной тетради и что-то начиркал. – Вот, держи. Гастроном «Елисеевский» знаешь?

Никакого гастронома Лёня, конечно, не знал.

– Деревня! – Рыжий ещё что-то начиркал. – Вот адрес. Спросишь Тамару Матвеевну, она там завскладом. Скажешь, что от меня. Я два года у неё на складе работал грузчиком по ночам. Дело нехитрое, ночью приходит машина с товаром, его нужно перетаскать на склад, разложить. Часа два занимает, потом можно и поспать. А день у тебя свободен, занимайся музыкой, готовься к поступлению. Денег нормально платят, на уроки хватит. Хлебное место тебе по наследству передаю.

Лёня поблагодарил, забрал бумажку, сам не понимая зачем. Какой гастроном, какой склад, какие уроки! Он сегодня же соберёт вещи и уедет домой в Сочи. И пропади она пропадом, эта консерватория, вместе с этой их Москвой!

* * *

Но никуда он не уехал. До вечера бродил по городу, уставший, голодный и опустошённый, не в силах вернуться туда, к бесконечно бормочущему телевизору, равнодушной Лике, вечно отсутствующему, в физическом и моральном смысле, отцу, который, конечно же, задаст тот единственный вопрос, на который у него нет ответа. И Лёня даже представлял, что он скажет ему и как. Удивлённо поднимет брови, нахмурится, пронзит его фирменным стальным взглядом и ледяным тоном произнесёт: «Не поступил? Ты не смог поступить? Да, видимо, я ошибся. Ты не настоящий Волк». Скорбно покачает головой и уйдёт в свою комнату. Лёня всё это уже неоднократно видел во время приездов отца в Сочи. «Ты не умеешь плавать? Ты не настоящий Волк!» – с этого всё началось, и Лёня потом полночи всхлипывал, прижимаясь к бабушкиной груди, засыпая и вновь в ужасе просыпаясь от нехватки воздуха, от давящей на уши булькающей тишины. После того раза отец уже ни к чему его не принуждал, выбрал новый подход, вот эти нахмуренные брови и скорбное выражение лица, демонстрирующее полное разочарование в сыне. «Ты плохо учишься? Тройка по чтению? Четыре по физкультуре? Тебе не стыдно? Ты не настоящий Волк!» И объясни, что никто больше тройки ему по технике чтения не сможет поставить как бы он ни старался и как бы хорошо учительница к нему ни относилась, норматив есть норматив. За четвёрку по физкультуре и правда было стыдно (уж физкультура-то, где все отличники!), но каждое занятие у них начиналось с бега вокруг школы, три круга, а после первого Лёня уже задыхался, во рту появлялся странный привкус непонятно откуда взявшейся мокроты, а с лица градом тёк

холодный пот. После такой пробежки у него просто не оставалось сил на весь остальной урок, с прыганием через козла, кувырканием на кольцах и прочими упражнениями, приводившими в восторг остальных ребят. Если бы не этот чёртов бег! Ведь вне школы они с Борькой и по деревьям лазили, изображая Тарзана из популярного тогда фильма, и на море бесились часами. Бег в начале занятия портил всё! Но как объяснить это папе? Он же прекрасно бегает до сих пор! Встаёт рано утром и до службы бегает вокруг дома. И нормы ГТО сдал с первого раза!

Лет в четырнадцать он услышал опять сказанное разочарованным тоном: «Ну а девушка-то у тебя есть? Нет? Ты не настоящий Волк! Вот я в твои годы…» И он краснел, думал о Кате, не зная, можно ли назвать её своей девушкой. И даже если она его девушка, то папе-то об этом он не мог, не хотел говорить. Считал неприличным, неправильным, недопустимым. А отец добавил:

– Всё потому, что ты никак не избавишься от своего дурацкого заикания. Давно пора забыть про тот эпизод…

– Молчать! – Бабушка так приложила рукой об стол, что подпрыгнули и звякнули стаканы, а тарелка с хлебом, стоявшая у края, вообще упала на пол и разбилась. – Не смей, Виталий! Тебя там не было, крыса ты тыловая!

– Я крыса тыловая? Да я в кольце обороны Москвы был! – тут же взвился уже захмелевший отец.

– Ты был!.. В заградотряде ты был! Много смелости надо по своим стрелять!

– Я не стрелял по своим! Но существует приказ, и…

Они уже орали друг на друга, два ветерана со всё ещё не залеченной памятью, сверкая глазами и не выбирая выражений. Лёня молча выскользнул на улицу и убежал в бамбуковую рощу. Он терпеть не мог громкие звуки, ненавидел крик, даже адресованный не ему. В тот раз он сделал важный вывод – отец не понимает. Лёня уже научился делить людей на понимающих и принимающих его недостаток и всех остальных. К первым относились самые близкие: бабушка и Олеся, Борька и вся семья Карлинских, преподаватели музыкальной школы и некоторые учителя из общеобразовательной. Отец не понимал. А значит, при нём нужно было поменьше открывать рот, а лучше вообще молчать.

Но самое обидное «ты не настоящий Волк» прозвучало совсем недавно, прошлым летом, когда отец узнал, что Лёньку не возьмут в армию. У медкомиссии никаких сомнений на его счёт не возникло, в документах написали «не годен» и дружелюбно посоветовали идти получать гражданскую специальность.

– Я с ними разберусь! – кричал отец, нервно вышагивая по комнате. – Что за глупости! Самоуправство! У меня в полку был сержант Фазиль Исхаков, так, когда он говорил, никто слова разобрать не мог! И прекрасно служил, погиб в сорок четвёртом, правда.

– Ты не сравнивай, – отозвалась бабушка, меланхолично помешивая в кастрюле мамалыгу – любимую Лёнькой кукурузную кашу, особенно вкусную с домашним копчёным сыром. Мамалыга требовала непрерывного перемешивания, и делом это было непростым, он как-то сам попробовал, через пять минут чуть рука не отвалилась, а готовилась каша почти час. – Твоего Фазиля во время войны призвали, тогда всех подряд гребли. А сейчас мирное время.

– Как заикание служить мешает, ты мне скажи? – кипятился отец. – Нет, поедет со мной в Москву, я там договорюсь, пройдёт другую медкомиссию…

– Глупостей не говори! – рявкнула бабушка. – Хватит уже, навоевалось его поколение! Оставь мальчишку в покое, у него талант музыканта. Ему учиться надо, а не в полковом оркестре на баяне строевые песни лабать!

И отец смирился, согласился, тогда и зашёл разговор о Лёнькиных талантах и было принято решение ехать поступать в Москву. Но своё коронное: «Ты не настоящий Волк, мужчина должен служить в армии», – отец всё-таки сказал.

Каждый раз Лёньке хотелось доказать, что папа ошибается, что он настоящий Волк. Но папа уезжал через несколько недель, и всё забывалось. Жизнь снова становилась привычной и комфортной, и не надо было ничего доказывать да и некому.

И вот теперь он поднимался по широкой лестнице на пятый этаж, игнорируя лифт, и представлял себе, как услышит фразу про «ненастоящего Волка». Ну и плевать. Зато он вернётся домой, к бабушке, Борьке и морю. Хотя и непонятно, чем он будет заниматься. Играть в ресторане на набережной? Ну и пусть, почему

бы и нет.

Дверь открыла Ангелина, в вечернем платье, накрашенная, с завитыми кудрями.

– А, это ты! Ну наконец-то. Что так долго? Мы с отцом в театр, я билеты достала на «Маскарад» в «Моссовет». Присмотришь за Ликой.

– Я тоже хочу в театр! – ревела Лика из комнаты.

– Ангела, иди с ней, я чертовски устал на службе, – ворчал оттуда же отец.

– Нет, мы пойдём вместе! Неприлично ходить в театр без мужа! За Ликой присмотрит Лёнечка, правда, Лёнь?

Лёня и рта не успел раскрыть, а его уже взяли в оборот. Ангелина перечисляла, что нужно сделать в их отсутствие: разогреть ужин, покормить Лику, помыть посуду («Ненавижу грязные тарелки в раковине, ты же знаешь!») и не слишком поздно лечь спать.

– Да, и твоё пианино сегодня привезли! – крикнула уже из прихожей, надевая туфли, Ангелина. – Так что можешь заниматься! Только не очень громко, чтобы соседи не ругались.

Лёня растерянно смотрел на пианино, чудом втиснутое в комнату. Его «Красный Октябрь»! Он был рад его видеть, как старого друга. Подошёл, погладил потёртую крышку, открыл, пробежался по клавиатуре. Вроде не расстроено, хотя дорога была дальняя. Хотя нет, вот тут фальшивый звук и тут. Да, без настройщика не обойтись.

Из спальни через зал прошёл отец в военной форме, которую считал более торжественной одеждой, чем любой костюм, с планкой наград. С гордостью взглянул на Лёню, перебирающего клавиши пианино, на секунду задержался возле него.

– Занимайся, сын, восстанавливай форму к первому сентября. Ты ведь поступил?

Не спросил, утвердительно сказал, как будто не сомневался в положительном ответе. И Лёня не смог признаться. Кивнул, не отрываясь от пианино.

– Настоящий Волк, – удовлетворённо произнёс отец и закрыл за собой дверь.

* * *

Правду узнал только Борька, из очередного письма. В ответ написал, чтобы Лёня не валял дурака, занимался, а на следующий год показал самодовольным засранцам, чего стоят сочинские ребята. К тому моменту, когда Лёнька получил его письмо, он уже никого не валял. Он воспользовался советом рыжего и нашёл «Елисеевский» гастроном, познакомился с Тамарой Матвеевной, добродушной тёткой необъятных габаритов, которая с первой же встречи поставила себе целью сделать из этого «задохлика» человека, что выражалось в почти насильственном кормлении. Каждый день, приходя на работу, Лёнька первым делом должен был съесть оставленный Тамарой Матвеевной «паёк», в который непременно входили бутерброды с колбасой и сыром, сладкая булочка и пакет кефира, пара творожных сырков и даже пирожные. Продовольственные возможности Тамары Матвеевны были неисчерпаемы, а её почти материнское желание пригреть Лёньку выливалось порой в самые неожиданные формы – однажды он обнаружил в «пайке» бутерброды с красной икрой, в другой раз покровительница приволокла ему целый ананас, после которого он покрылся мелкой сыпью и три дня чесался – непривычный продукт вызвал аллергию.

Работа оказалась не из лёгких: когда приезжала машина, нужно было таскать неподъёмные коробки с товаром, а потом раскладывать их содержимое по полкам склада и холодильной комнаты. Не привыкшему к физическому труду Лёньке поначалу приходилось туго, но ежедневные тренировки вкупе с усиленным питанием делали своё дело, и через месяц он уже спокойно поднимал ящик с бутылками минеральной воды или консервными банками и, не особенно напрягаясь, доносил его до склада.

Он работал в дневную смену, так было удобнее. Утром уходил как бы в консерваторию, до трёх часов таскал товар, а после трёх шёл на Большую Якиманку, где в старом доме дореволюционной постройки, превращённом в тесную коммуналочку, жил Пётр Михайлович, его нынешний педагог. Желчный старик, на Лёнькин взгляд, в подмётки не годящийся Илье Степановичу. Однако Пётр Михайлович был единственным преподавателем консерватории,

согласившимся давать уроки в частном порядке за ту сумму, которой Лёня располагал. Зарплата у него была небольшая, и, хотя он ни копейки не тратил на питание, оставлял только на проезд, а всё остальное отдавал за уроки, Пётр Михайлович считал эти деньги сущими грошами и часто подчёркивал, что занимается с Лёней исключительно по доброте душевной. Таланта он в Лёне не видел, никогда не хвалил за успехи, зато нещадно ругал за малейшие оплошности.

– Руки каменные, – орал он на Лёню, лупя по этим самым рукам железной линейкой. – Ты что, слесарь на заводе? Это руки музыканта?

У него и правда был повышен мышечный тонус после шести часов таскания ящиков. К тому же Лёня совершенно не мог заниматься дома, звуки пианино мешали всем – у Ангелины от них болела голова, а Лика не слышала телевизор. Отец претензий не высказывал, но, судя по лицу, тоже не испытывал восторга от музыкальных упражнений сына. Да и Лёне не нравилось играть в такой обстановке, по вечерам он мечтал только о том, чтобы все скорее разошлись по комнатам, и он завалился спать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/volkodav_yuliya/vremya-volka

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить